

Инна Александрова

СВИНГ

«Автор»

2009

Александрова И.

Свинг / И. Александрова — «Автор», 2009

В текстах этой книги нет одного – неправды. От первого до последнего слова – как было. Все пережито, передумано, выстрадано автором, чья жизнь не была обычной: в пятидесятом, девятнадцати лет от роду, была репрессирована по политическим мотивам, в пятьдесят пятом – реабилитирована. Инна Александрова – автор нескольких книг. Окончила Казанский университет. Филолог. Учительствовала, преподавала в пединституте, более тридцати лет проработала редактором. Предлагаемая книга – о полных страданий человеческих судьбах, о сталинской неволе, об антисемитизме и, несмотря на это, – о любви. Книга названа джазовым термином потому, что в ней – как в свинге – душа автора: собрано самое сокровенное из того, что написано.

© Александрова И., 2009

© Автор, 2009

Содержание

ПРОСТИ. Я ОТВОРИЛА ДВЕРЬ	5
Я НЕ ПЛАКАЛА В ТОТ МАРТОВСКИЙ ДЕНЬ	20
ВЫЖИЛИ...	28
ОЧИЩЕНИЕ	38
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Инна Александрова

СВИНГ

*Земля прозрачнее стекла,
И видно в ней, кого убили
И кто убил: на мертвой пыли
Горит печать добра и зла.
Поверх земли мятутся тени
Сошедших в землю поколений...*

Арсений Тарковский

ПРОСТИ. Я ОТВОРИЛА ДВЕРЬ

Так что же так разозлило, разъярило, разобидело эту девочку? Студенточку. Ей, наверно, не больше девятнадцати-двадцати. Тройка, которую она закатала в зачетку? Вряд ли. Это могло быть лишь последней каплей. Сорвалась девочка на истерику. И в коридоре, куда вывела ее подруга, всхлипывала: «Вы, все вы виноваты...»

Что имела в виду? Ее лично или поколение, к которому она принадлежит? По возрасту она годится в бабки этому ребенку – втрое старше. Что же заставило девчушку так зло ее виноватить?

Она помнит себя лет с трех. Отец и мать худенькие-худенькие. У них не телосложение, а теловычитание. Они живут четвером: отец мама, она, Устя. Устя – девочка из деревни. Два столовских обеда делят на троих. Ей, Майечке, варят манную кашу из торгсиновской крупы – вот куда ушли мамины колечко и брошка. Пол-литра молока покупают на базаре через день. Кашу выскребывают до самой последней капельки. От обеда ей тоже кое-что достается, поэтому она вполне упитана. А вот отец с мамой – теловычитание...

Их огромный дом – в центре Казани. Бывшая фешенебельная купеческая гостиница. Внизу магазины и кинотеатр «Пионер». Очень интересно, когда с мамой или Устей они прогуливаются во внутреннем дворике. Здесь красивый светильник: бронзовая женщина держит за руку младенца. Резкий свет приглушен стеклянной крышей. В витринах замечательные вещи – духи, пудра, зубные щетки. Купить – нет денег, но посмотреть можно.

Их комната – длинный пенал. Все говорят, темная. Окно выходит во двор-колодец. Но если перегнуться через подоконник и как следует крикнуть, эхо тут же возвращается. Когда Устя и мама не видят, они с Гогой – соседом и ровесником – так и делают: перегибаются и орут. Орут что есть мочи.

Конец тридцать шестого года. Усти больше нет. Устя живет теперь в общежитии при меховой фабрике. Папа устроил ее работать. Сам преподает фабричным рабфаковцам химию и физику. Устя приходит к ним лишь по воскресеньям – веселая, нарядная. Мама говорит, у нее появился жених. А она, Майечка, теперь детсадовская. В их огромном коридоре – от стены до стены десять шагов – дети делятся на домашних и детсадовских. У домашних, как у Гоги, есть бабушка и прочая родня. У детсадовских – только мать и отец или одна мать. Но зимними вечерами они, детсадовские, показывают в коридоре такие вещи, какие и не снились домашним. Они маршируют и строят пирамиды, а песни, что передают по радио, знают все. Она крепкая, здоровая, рослая. Глаза синие, блестящие. Светло-русые волосы вьются.

Мама – историк. Окончила историко-филологический факультет университета, и ей очень легко даются языки. Диплом писала о Шигабутдине Марджани. Две толстые книги татарского просветителя, что лежат на мамином столе, ей, Майе, честно говоря, не очень интересны, а вот то, что делается в Восточном клубе, – занимает. В клубе играют спектакли – взрослые и

детские. Если на татарском, мама переводит. Иногда они задерживаются в клубе допоздна, и тогда папа заходит за ними. Меховая фабрика, где он преподает на рабфаке, находится недалеко.

Спектакли в клубе бывают веселые и грустные. От этого зависит и их с мамой настроение. Если спектакль веселый, папа просит пересказать, если грустный – сам рассказывает всякие смешные истории, которые приключаются с его взрослыми учениками.

Папа преподает на рабфаке потому, что ему интересно с молодыми, а еще потому, что не хватает денег. Как и мама, окончил университет, а перед этим были революция и Гражданская война. Папа родом из Виленской губернии. Он поляк. Их, поляков, много жило в этом крае, но какое значение имеет национальность, если нет денег учиться, если ходишь с заплатами на коленях, если есть хочется постоянно, а хлеб – с выдачи... Над твоими заплатами смеются два соседских парня. Они тоже поляки, но у них есть отец, и он держит лавку. А твой – погиб в девятьсот пятом. Зарубили казаки, когда с такими же поляками шел просить у царя свободы и равенства. А потому в октябре семнадцатого, когда приходит весть, что в России отныне вся власть будет принадлежать Советам, а в них будут управлять честные, благородные, совестливые люди, только и пекущиеся о благе народа, как же не поверить в светлое будущее, тем более если тебе всего шестнадцать?..

Ну а потом – комсомольская ячейка, весной девятнадцатого призыв: все на Восточный фронт, на борьбу с Колчаком. В двадцатом – тиф, да такой, что два месяца между жизнью и смертью. В результате – волжский университетский город и два страстных желания: жить и учиться.

Папа способный, поэтому академик Александр Ермингельдович пригласил его преподавать на химико-технологическую кафедру института, что отпочковался от университета. Коллектив у них хороший, молодой, дружный. Вот только один – Москаленко – вечно чем-то недоволен. Всех и все критикует, а сам от работы отлынивает.

У мамы на работе люди вообще замечательные. Мама говорит, такой большой научной библиотеки во всем Союзе нет. Конечно, московская и ленинградская больше, но и их библиотека занимает одно из первых мест. Мама изучает творчество Марджани – ученого, писателя, просветителя. Он стоял за раскрепощение умов от всяких ненужных догм, за сближение культур – восточной, западной, русской. Особенно интересно маме, как воздействовала восточная культура на западную, в частности, на французскую. Поэтому мама выучила еще и французский язык. Читает свободно, а в разговоре упражняться не с кем.

Год тридцать седьмой. Все у них хорошо. Все трудятся: папа в институте и на рабфаке, мама в библиотеке, Майечка в детском саду. У всех свои успехи. Поэтому, когда однажды на партийном собрании Москаленко вдруг встает и говорит, что надо внимательно присмотреться к работе Ждановича, то есть папы, все удивлены, даже поражены. Жданович – трудяга. И голова у него ясная. Но Москаленко не унимается: важно идеологическое нутро человека. А тут у Ждановича не все в порядке. Взять хотя бы Софью Львовну, его жену. Связалась с татарскими националистами. Изучает творчество какого-то муллы – представителя культа. О том, что Марджани основал при мечети медресе, в котором учились будущие татарские революционеры, Москаленко почему-то умалчивает. Не заикается он и о том, что образование всей татарской интеллигенции до революции так или иначе было связано с деятельностью священнослужителей, и в этом нет ничего плохого. И Насыри, и Бичурин, и Шапов – все учились или преподавали в духовной семинарии. Разве образованность их стала от этого меньше? И вообще собравшимся не очень ясно, почему они на своем партийном собрании должны обсуждать деятельность Софьи Львовны Жданович, работающей совсем в другом учреждении и беспартийной.

Но Москаленко не унимается. Он снова берет слово и говорит, что, по русской пословице, муж и жена – одна сатана. Что в деятельности Софьи Львовны Жданович он ясно видит

националистические тенденции. Непонятно, как русская женщина могла подпасть под националистические идеи, хотя кое-что ясно: Владислав Иванович Жданович тоже ведь не русский. Поляк...

Почему папина национальность и мамино изучение творчества татарского просветителя объединяются в одно, представляется всем смутно, но все становится ясным, когда буквально через несколько дней Москаленко переходит на работу в другой дом. Дом, что стоит на Черном озере. Дом, что зовется НКВД.

Октябрь тридцать седьмого. В конце месяца папа не возвращается с работы. Мама плачет всю ночь, а наутро бежит в папин институт. На кафедру ее не пускают. Велят идти в отдел кадров. Там говорят: папу вчера арестовали.

Она помнит, как они с мамой идут в большой серый дом на Черном озере. Она не выпускает маминой руки ни на минуту. И в кабинет к следователю входят вместе. Лицо у следователя не злое. Он тихо говорит маме, что им нужно немедленно уехать. Уехать, пропасть, затеряться. Лучше в Сибирь или в Северный Казахстан. Говорит тихо, едва слышно. И они, в одну ночь собравшись, бросив все, никому не сказав ни слова, уезжают в никуда, в полную неизвестность, потому что страшной тюрьмы ничего на свете нет.

Конечно, в первые семь месяцев, пока работы нет, натерпелись здорово. Продали все, что взяли с собой. Только к папиному узлу не притронулись. Мама сказала: если развяжут – папа не вернется. Сберегли и пальто, и костюм, и белье. Так что было во что переодеться, когда приехал он из лагеря. Завшивленный, в ватной телогрейке, в буденовке. Почему в буденовке, непонятно. Он не говорил, они не допытывались.

Отца отпустили на «вольное» поселение. Это не так часто бывало и говорило о том, что, как ни «скребли», много не «наскребли». Да и что, что можно было «наскрести», когда человек весь, от макушки до пяток, предан раз и навсегда выбранной идее – равенства, братства, справедливости...

Отец вернулся перед самой войной. Она тут же высветила, кто есть кто. Если главный инженер промкомбината, где работал теперь доцент Жданович пимокатом, испугался фронта до дурноты, до поноса, то отец пошел в военкомат двадцать третьего, на второй день, хотя военного билета не имел – спецпоселенец. А военком еще и посмеялся: такие там не нужны...

От обиды, а главное от понимания, как необходимо то, что он делает, сутками не выходил с комбината или неделями пропадал в аулах и селах, выколачивая сырье – шерсть.

Много лет спустя, длинными бессонными ночами анализируя свою и родительскую жизнь, она старалась докопаться до одного: какая сатанинская сила всем этим руководила? Зачем нужно было испозорить жизнь двух молодых людей, ее родителей, которые могли бы сделать столько полезного? Которые, как в дурном сне, вдруг превратились во «врагов народа», хотя сами были этим народом. Которых следовало презирать, бояться, а лучше всего – уничтожить...

Ни тогда, ни теперь не было у нее ответа, кроме одного: зависть, стремление встать над себе подобными.

Мама была, видно, хорошим специалистом, потому что уроки ее любили не только дети. Приходили послушать и коллеги-учителя, особенно рассказы из древней и средней истории. В старших классах, цитируя запрещенного Достоевского, утверждала: настоящий русский человек всегда сочувствует всему человеческому вне различия нации, крови, почвы, допуская разумность во всем, в чем есть хоть сколько-то общечеловеческого интереса. Не всем это нравилось. Некоторые с ехидцей замечали: «Не учит вас жизнь, Софья Львовна, не учит...»

Ах, мама-мамочка... Мечтательница и утопистка, свято верящая только в доброе человеческое начало. Особенно дорога она стала ей, когда родился Фелик. Страшные морозы зимы сорок второго. И бураны тоже. Чтобы выйти из дому, нужно откопаться. В ночь на пятнадцатое

февраля проснулись они от маминых стонов. Куда везти? На чем? Бежать за врачом – часа полтора пройдет.

Отец только поначалу растерялся. Потом командовать начал быстро, четко: растопи плиту, вытащи все чистое. Он долго и тщательно мыл руки, облил одеколоном.

Она не смотрит на родительскую кровать. Мама изо всех сил сдерживает стоны, но вдруг срывается на крик. Отец уговаривает ее покричать еще – так легче. Майе кажется, крики длятся вечность. На самом деле – всего полчаса. В три ночи детский писк возвращает из небытия. Она слышит радостный голос отца: «Соня, голубушка, сын...»

Через час кормят маму молочной лапшой, поят чаем из березовых почек. Мама красная, у нее очень блестят глаза.

Двенадцать дней она не отходит от маминой кровати. Спит тут же, на стульях. Никакие уговоры отца не действуют: если она ляжет, мама тут же умрет. Врач приходит каждый день, но только на седьмые сутки лицо его проясняется: ритмы сердца стали лучше. Есть надежда.

Поправляется мама медленно. Молоко от температуры перегорело, но у Рябовых – соседей – корова. Зорька гладкая, чистая, а главное – добрая. Молока дает сейчас мало, но Фелику хватит. Важно его накормить.

В школу Майя возвращается лишь в середине марта, мама – в конце апреля. Она очень слабенькая. Как былиночка. Фелика относят к бабе Вере – тетке Рябовых.

К Фелику Майя еще не привыкла. Ловит себя на нехорошей мысли: из-за этого комочка чуть не умерла мама. Мысль, конечно, подлая. Отец не позволяет маме вставать ночью – все равно грудью не кормит. Сам от бессонных ночей и работы почернел. У мамы одышка, поэтому, когда вдвоем они идут в школу, Майя притормаживает: так мама меньше замечает, что задыхается. Майя считает – наступит лето, и мама поправится. Наверно, все пошло бы быстрее, если бы с ними была бабушка. Перед самой войной она умерла – паралич. Маме не позволили поехать хоронить. Соседки в последний путь бабушку провожали...

Нет ничего страшнее лжи, часто говорит мама. Ложь – порождение трусости и тщеславия, злобы и лицемерия. Рано или поздно она все равно выходит наружу. Тогда люди теряют веру. И виноват не тот, кто поверил в ложь: он не знает истины. Виноват тот, чьи слова и поступки заведомо лживы.

Правды и только правды во всем хотела и она, Майя. Во всем, а особенно в отношениях с ним – Шурой. Она точно помнит день, когда начались эти отношения – в январе сорок четвертого. На зимних каникулах. В школе. На вечере. В «ручеек» играли. Он выбирал ее, только ее...

Она хотела правды и только правды. Поэтому так болело сердце, когда чувствовала: он врет, ложь вошла в их дружбу. Разум восставал, осуждал, говорил «брось», а сердце терпело, смирялось. Оно уже любило.

Гёте сказал: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Разве не шла она на бой с проклятым Пашкой Кутеповым – личностью растленной, хоть и не было ему восемнадцати. Отца у Пашки нет, мать – официантка в вокзальном ресторане. Выпивка и еда даровые. Только Пашку с вина рвет, поэтому вся страсть – в картах. Вот и Шуру одурманил, охмурил. В восьмом классе это было. И водку Шура тогда первый раз попробовал. До сих пор непонятно, как удалось ей вытянуть, вытащить его из этого логова.

А логово – «салон» Идочки Безбородько. «Салон», в котором мальчики становились мужчинами, а у девчонок был один путь – в проститутки. Как стыдно, как гадко было туда идти... Пошла. Пошла и сказала: если сейчас же, немедленно не будет стоять Шурка на крыльце, она разнесет к чертовой матери весь этот проклятый дом. Шума Идка боялась.

Пьяный, высокий, тоненький мальчик в расхристанной рубаше, в плохо застегнутых штанах, с мутными, бессмысленными глазами – таким выдали ей Шурку. Простила. Простила, потому что был он и другим – нежным, умным, книгочеем, с копной темно-русых волос, с большими серо-голубыми глазами, удивленно смотревшими в мир.

Очень холодная зима сорок четвертого. А им с Шурой жарко, хотя на ней – всего лишь телогрейка, на Шуре – короткий тулупчик. Они уходят далеко по озеру, на лыжах. Такие дни удаются редко. Тем счастливей часы. Конечно, они сопляки: Шуре только исполнилось четырнадцать, ей четырнадцать будет в ноябре. Но разве есть для любви возраст? Нет, они еще не целуются. Просто им очень хорошо вдвоем.

Когда поняла, что любит? Наверно, перед десятым. Их разделили по школам. Первая стала мужской, вторая – женской. Отправили в разные колхозы. Тридцать километров, а он – исхитрился, примчался, приехал. Воды нет. Пьют из одной лужи с быками. Жара днем под тридцать. Ночью заморозки. Одежда – та, что на них. Спят в одной большой юрте. Чадит копилка. Умаялись девчонки за день, а они, прижавшись спинами к юрте, накрывшись невесть где сысканной попоной, смотрят в небо. Огромные горячие звезды падают и падают с вышины. Они летят так долго, что можно успеть загадать. И они загадывают. Загадывают одно: быть вместе. Всегда. Всю жизнь.

Александр Александрович Шалимов, Шурин отец, – импозантный мужчина, как говорит мама. Густая седая шевелюра, осанка. Правда, несколько полноват, и маленькие глазки глубоко посажены, но это все мелочи. Шалимову нет и пятидесяти. Он местный, не сосланный, но не был на фронте. Врач. Хирург. В сорок пятом, после войны, доктор Шалимов станет еще и венерологом, ибо надобность в этом появится большая. Как говорит мама, доктор своего не упустит. Дом – на широкую ногу. В летние дни из открытых шалимовских окон слышится хозяйский бас: «Люди гибнут за металл...» После войны, пересмотрев свои жизненные позиции, доктор Шалимов вступает в партию, становится заведующим облздравотделом.

Лидию Андреевну, Шурину маму, Майя знает плохо. Видела только на улице. Дома у Шуры никогда не была. Ходить в гости к парням не принято. Однако успела разглядеть, что худа Лидия Андреевна и согнута. Такие же, как у Шуры, большие серо-голубые глаза, но во всем облике – тоска и смирение. Говорят, Александр Александрович не оставляет без внимания ни одной медицинской сестры, с которыми работает. Из-за девчонок-двойняшек, а главное, из-за любимого сыночка ушла Лидия Андреевна на домашнее хозяйство, хотя была хорошей акушеркой. Но дети ни в чем не должны знать отказа: еда – свежая, постель – мягкая, платья и рубашки – чистые. И муж, и девчонки, и Шурочка принимают все как должное. Планы у родителей большие: сын – профессор юриспруденции.

... Как все-таки она его ждала!
Она не знала раньше, что в разлуке
Так глупо могут опускаться руки,
Так разом опостылеть все дела...

Тогда, в сорок восьмом, у нее и правда опустились руки. Они с Шурой поехали на учебу в разные города. «Через год, через год, если поймете, что не можете друг без друга, один из вас переведется», – говорила мама. Ах, мама-мамочка... Лукавила, милая. Знала, точно знала: не допустит доктор Шалимов, чтобы сынок, единственный, женился на дочке сосланного.

И его, Шурочкины, письма были вначале тревожные – большой город, много соблазнов, совратят Майю разные франты и пижоны. Но она в ответ с чистой совестью: нет, нет, нет. Он, только он...

Страдать по-настоящему начала ближе к декабрю: письма Шурины стали реже. Правда, прислал две фотокарточки. На одной внимательно изучает какой-то опус, на другой – две красивые девушки тесно прижались к студенту. И папироска у Шуры в руке. Значит, начал курить.

Неудержимо тянуло ее с кем-то поделиться. Но кому, кому расскажешь, что отец твой – лишенец, а любимого отняли, оторвали, разлучили. Она сильно похудела, осунулась, стала

необщительной. Ребята – почти все фронтовики – вначале настойчиво приглашали, потом отступились: обиделись.

Училась с каким-то остервенением: есть только наука, только химия. Остервенение принесло плоды. На семинарах и коллоквиумах была первой. Начали завидовать. Она еще больше отдалилась, обособилась, замкнулась. В душе тоска. Понимала: упряма, самолюбива, но человек без самолюбия казался тряпкой. Тряпкой быть не хотела.

Четверо суток в поезде с двумя пересадками – как один день. Казахстан. Зимние каникулы. Январь сорок девятого. Как хочется побыть с мамой, обо всем поговорить. Поезд замедляет ход. Вот и они, ее любимые. Мама в каракулевой серой шапочке, отец почему-то с портфелем. Она идет к полке, чтобы взять чемодан, но чья-то рука уже перехватила ручку. Она не успевает подумать. Шура, Шурочка стоит перед ней... Когда успел впрыгнуть в вагон? Как могла его не увидеть? Он без шапки, хотя мороз. Глаза блестят. Ясные, горячие, любящие...

Разлучались только, чтобы поспать. Все дни – у Майи или на улице. Морозы несильные. Тихо. Солнечно. Нельзя, не нужно ждать второго курса. Все ясно: они не могут друг без друга. Они должны быть вместе. Она говорит все это маме, и тогда, как кошмар, как обухом: «Шалимов пойдет на все...» Все – это, значит, сделает так, что Майю больше не выпустят учиться.

По ночам не спится. Все становится выпуклым, отчетливым, видимым. Наверно, Шалимова можно понять. Он хочет сыну счастья. Такого, как сам его понимает: блестящая карьера, престиж, деньги. У Ждановичей понятия другие – правда, долг, честь. Проклятыми лицемерами называет мама тех, кто говорит одно, а делает другое. Интересно, сотрудники МГБ, к которым каждые десять дней они с отцом ходят на отметку, и правда считают их врагами? Тогда почему выпустили ее – дочь «врагов народа»? А Сталин? Он тоже так думает? Он знает обо всем? Если знает, почему не разберется? Разве делали и делают мать и отец что-то такое, что наносит вред государству? Они видят многие недостатки и говорят об этом. Значит, лучше видеть и молчать? Кому лучше? Государству? Ложь лучше правды? Мысли лезут и лезут. Утром она вялая.

Все, что на душе, не обязательно кому-то выкладывать. Есть бумага, есть тетрадь в сером клеенчатом переплете. Здесь можно говорить обо всем. Почерк у нее мелкий, убористый, как у отца.

Не приехал, не явился Шурочка домой на летние каникулы. Запретил Шалимов сыну приезжать. Боится. Отправил куда-то. Если говорить честно, девчонок ей видеть не хочется. Все знают об их отношениях с Шурой. Поэтому вместе они только с Зоей, Зойкой, с которой за одной партой с шестого класса. С Зойкой, которая заявила своим: «Поеду учиться только туда, куда Майя». С Зойкой, с которой хоть на разных факультетах в университете, но койки в общежитии рядом.

Майя не любит ни Зойкиного отца – замредактора областной газеты, худого, желчного, ни Зойкиной матери – здоровой, зеленоокой, с пышными рыжими волосами. Что-то порочное есть в лице этой женщины. Хотя Майю встречают приветливо, ей неприятно бывать в этом доме. Поэтому пасут они сопливую Ритку-Маргаритку, Зойкину сестренку, и Фелика на озере. Ритка шустрая, уматывает Фелика.

Зоя – прирожденный математик. Не принимает ничего, что не относится к точным наукам. Книг не читает, но слушает охотно, когда Майя рассказывает что-нибудь из прочитанного. Ревнива. Ревновала Майю к Шуре. Что распались их отношения, рада. Говорит, с Шурой они не пара.

Из дома на второй курс уезжают с Зойкой в конце августа. Даже на несколько дней не позволил Шалимов приехать сыну. Собой пожертвовал. Ну, а им с Зойкой надо перебраться в то общежитие, что ближе к университету. В их, дальнем, туалет зимой так промерзает, что дерьмо плавает по красному кафельному полу. Только в ботах и можно переплыть.

Переселение удастся. Комнаты в общежитии большие. В них – десять кроватей. Здание, конечно, не приспособлено, но все рядом: университет, главпочта, столовая. Очереди в столовку длинные, но иногда они все-таки стоят: хочется горячего. В остальные дни – хлеб с маргарином и два раза в день кипятик из титана. Рынок, разумеется, не по карману.

Зойка, маленькая, тщедушная еще в десятом классе, так развернулась на хлебе и маргарине, что не узнать. Переросла Майю. Глаза из зеленых стали серыми. Темные ресницы опускают их, как бахрома. Волосы пышные, рыжие. Грудь высокая. Ноги длинные. Не девка, а картинка. Зойка чувствует это. Говорит медленно, с растяжкой.

Несчастье – а в том, что это несчастье, Майя уверена, – приходит в ноябре. Напротив университета – Воскресенская церковь. Майя помнит, как еще в тридцать третьем или тридцать четвертом Устя водила ее на службу. Они устраивались где-нибудь в уголке. Устя шептала молитву. Майя молитвы не знала. Она смотрела, как какая-то тетя в черной шляпке и светлом красивом пальто маленьким кружевным платочком вытирает глаза. От платочка пахло духами.

Теперь Воскресенскую церковь ломают. На разборке – все факультеты. На этом месте будут строить новый корпус университета. Место можно найти и без слома церкви. Но церковь ломают...

Анатолий Быстров, так зовут парня с третьего курса филфака, старается занять место всегда рядом с ними. Внимание – только Зойке. Быстров – невысокий, ладный, ловкий. Фронтвик.

После работы втроем они идут в столовку. Поев, Майя жалуется на разболевшуюся голову. Она и правда болит: свежий воздух будоражит, если изо дня в день сидеть в химлаборатории. Зойка с Анатолием, конечно, не возражают – Майе надо лечь, отдохнуть...

Роман развивается с необыкновенной быстротой. Потрясение – впереди. Анатолий женат. У него двое маленьких детей: мальчик и девочка. Он не здешний, из Сибири. На Волгу попал в марте сорок пятого, в госпиталь. Валя, жена, выходила, к себе забрала. Живут в своем доме с Валиной мамой. Он Вале благодарен очень, но любит теперь только ее, Зою. Никогда с ним такого не было...

Это как ураган, как шквал. Ничего Зойка не понимает. К нему, только к нему! Какие дети? При чем дети? Они любят друг друга. В чем дело?

Понимая, что самой не справиться, Майя пишет маме. Письмо сумбурное, лихорадочное. В ответ мама что-то уточняет, спрашивает. Считает, что с матерью Зойки говорить бесполезно. Надо разговаривать с отцом.

Замредактора приезжает немедленно. Жать начинает на Анатолия: старше, прошел войну, а полоумная Зойка ни черта не смыслит. Десять дней живет, но своего добивается. Анатолий перестает искать встреч с Зоей.

Страдания Зойки ужасны. Она почернела так, что только одни безумные глазища и блестят. С Майей не разговаривает. Майю ненавидит. Домой в зимние каникулы они не едут: Майя боится встреч с Шурой, Зойке надо подобрать «хвосты». В первый день четвертого семестра Зойка переезжает снова в дальнее общежитие.

Ругала ли Майя себя, что написала о Зойкиной любви? И да, и нет. Ей было жаль, очень жаль несостоявшегося Зойкиного счастья, но еще больше жалела она Анатолиевых ребяташек, которых осиротила бы Зойка, не моргнув глазом. Не построишь своего счастья на чужих развалинах. Так тогда думала Майя. Так думает и теперь.

В тот день, двадцать седьмого февраля пятидесятого, спать они легли рано – часов в одиннадцать. Стук в дверь раздался, наверно, в час. Почему она первой услышала? Интуиция? Стук был тихий, осторожный. Она встала, спросила. Приглушенный мужской голос ответил вопросом: «Здесь проживает Майя Владиславовна Жданович?» Почему назвал ее по отчеству? Она откинула щеколду.

Мужчина был в милицейском. Она испугалась, подумала: что-то страшное случилось там, в Казахстане. Ее начало трясти. Он заметил это. Посоветовал одеться теплее. Сказал, что должна пойти с ним недалеко – в республиканское управление МГБ.

Она даже внимания не обратила: не в милицию, а в МГБ. Одна мысль сверлила мозг: что с мамой, отцом, где Фелик?

Соображать начала только в кабинете следователя. Он так и представился: следователь Нургалеев. Не отец ли той красивой девочки с филфака, что на новогоднем вечере читала горьковскую «Девушку и смерть»? Хорошо читала.

На столе поверх голубой папки – толстая общая тетрадь в серой клеенчатой обложке. Ее тетрадь. Она сразу узнала.

– Зачем вы это сделали? – голос следователя тихий, вежливый. – Зачем вы это сделали? Зачем вообще нужно было вести дневник?

Она долго не могла понять, что он имеет в виду. Она писала в этой тетради для себя, только для себя. О своем настроении. О любви к Шуре. Кого она обидела?

– Разве можно сомневаться в его политике, в политике партии? – Голос следователя стал резче. – Знает, не знает. Что за гадания? Он знает все. Он – вождь великого государства. Он охраняет чистоту рядов нашей партии. Какие могут быть сомнения?

Теперь до нее дошло. Голос стал еще тише.

– Зачем нужно вести дневник, учитывая положение ваших родителей?

Да, теперь ясно: Зойка выкрала тетрадь и принесла ее сюда. Только она знает, что родители Майи сосланы. При поступлении в университет Майя ничего не написала в анкете – не было прямого вопроса. Были вопросы о заграничных родственниках, о том, был ли кто в плену. Вопросы о репрессии родителей не было.

Нет. Ничего преступного она не сделала. Разве обругала Сталина? Только усомнилась: знает ли он, что делается в стране. Разве предала Советскую власть? Разве причинила ей хоть какой-нибудь ущерб? Она думала. И изложила свои мысли в этой тетради. Разве лучше не думать, быть безмозглой? Кому лучше? Государству? Значит, страна дураков?

В камере продержали две ночи. Много народу – только это и запомнила. Отупение, полное отупение. Она не плакала, но ее трясло. Трясло так, что женщина, сидевшая рядом на нарах, укрывала ее все время своим пальто. Но ей было не холодно. Ей было даже жарко. А руки и ноги не могла удержать. Они разбрасывались в разные стороны. Пыталась их пристроить на место, но сила, с которой нельзя было совладать, раскидывала их снова.

На третью ночь они уже ехали в теплушке. Иногда поезд мчался курьерским, иногда стоял часами. Она лежала на соломе с закрытыми глазами. Дрожь утихла, но сон не шел. Женщины разговаривали тихо, устало. Наверно, на четвертые сутки услышала на какой-то стоянке голоса двух мужчин. Голоса были там, на воле. Мужчины говорили о Кургане, Челябинске. Поняла: едет в сторону дома. И тогда единственная мысль овладела ее сознанием: сообщить, дать знать, выбросить письмо из вагона.

Наверно, все-таки засыпала, потому что очнулась от резкого запаха – запаха степного свежего воздуха. Такой особый степной воздух был только в их городе. Давно это заметила. Поезд стоял. Светало. Выглянув в маленькое зарешеченное окошко, поняла: это их станция.

Какая-то женщина дала ей обложку от тонкой тетради и карандаш. Она написала лишь несколько слов: здорова, не по своей воле куда-то едет. Если разрешат переписку, тут же напишет.

Обложку свернула солдатским треугольником. Теперь его надо было выбросить. Выбросить из вагона, но так, чтобы сразу же кто-нибудь подобрал. Разбить окошко? Тут же услышат охранники. Бросить, когда дверь откроют? Увидят, заберут. Остается одно – дырка. Дырка в углу вагона. Параша.

Ждала долго. Рабочие. Они ходят, стучат по колесам. Только к вечеру услышала женские голоса и решила:

– Тетеньки, тетеньки! – Старалась звать как можно тише. Охранники, наверно, где-то здесь, рядом. На третий или четвертый зов, наконец, ответили:

– Чего?

– Я через парашу выброшу письмо. Возьмите. Отошлите по адресу. Марки нет. Пусть идет доплатным.

Не стала отсылать женщина письмо. Не стала. Сама принесла. Не побоялась. Рабочая, обходчица.

Только через сутки открылась дверь. Хотя составы загородили вокзал, она точно знала: это ее город. Такой воздух только в ее городе. И тут впервые за последние семь дней ее снова начало трясти. Тело ходило ходуном. Конвульсии перекручивали исхудавшие руки и ноги, а женщины держали ее изо всех сил, плача и причитая. Она тоже впервые за все эти дни плакала, уговаривая их не пугаться. Она знала, чувствовала: не умирает. Это скоро пройдет. А проклятые спазмы корчили и корчили, делая беспомощной и жалкой.

В кузове машины, куда загрузили их поверх пшеницы, под старым теплым тулупом быстро уснула. Женщины потом сказали, что не просыпалась даже при резких толчках. Ехали весь день. К вечеру – районный центр. Никогда не была здесь раньше. Красивое место. Снег прикрывает все изъяны. Деревья – их много – в белом кружеве. Дома на взгорье крепкие, рубленые. Лед на озере – в блестках заходящего солнца.

Их выгружают у большого деревянного пятистенка. Подворье крытое, чистое. Скотину здесь, видно, давно не держат. Велят занести в дом сена. Печь русская истоплена. Чей дом, где хозяева – непонятно. Раздают сухой паек. Поев, снова мгновенно засыпает. Утром женщины едва ее расталкивают. Завтрак королевский: пшенная каша с салом и по кружке крепкого чая. Кто принес, так и не видела.

Только к вечеру прибывают в пункт назначения – заводской поселок. Здесь суждено прожить ей сорок долгих месяцев. Что это будет такой срок, тогда не знала: ни суда, ни приговора не было. Была несвобода, ссылка, конец которой неизвестен. И было чувство: хочу жить, буду бороться, бороться до последнего...

Селение странное. Основанное лет двадцать пять назад, огромным рыжим оврагом делится на две части. Весной овраг похож на кипящий котел. Из проточного озера в нем стелкиваются большие грязные льдины. Льдины варятся в этом котле, шипят, переворачиваются. Но паводок кончается, и котел вновь превращается в глубокую яму, по дну которой течет тоненький ручей. Ребятишки на задах по яркой рыжей глине сползают вниз. Здесь глина особенно хороша. Ее добавляют в саман, ею обмазывают печи.

Почта, клуб, общежитие, дома ИТР – почти все из дерева. Жители – полный интернационал: поляки, что в тридцать девятом, после освобождения западной Белоруссии и Украины, не подошли по «кондиции»; немцы с Поволжья, вряд ли ждавшие Гитлера. Их деды и прадеды хорошо уживались с русскими и родину менять не собирались. Чеченцы и ингуши, что умирали сотнями. Сибирь, холод, нет одежды. Остался тот, кто выжил. Естественный отбор. Все вместе эти люди виноваты лишь в том, что принадлежат к какой-то нации. Проклятье это и по сей день. Тогда Сталин, а сейчас иные играли и играют с огнем, натравливая одних на других, вдалбливая в глупые людские головы, что все беды и несчастья от нации.

Улицей широкой, как площадь, заводская часть поделена надвое. Улица не замощена, с глубокими выбоинами. Три полуторки, газик и трактор делают свое дело. Весной и осенью выбоины полны водой. Кроме сапог, ни в чем не пробраться. А сапоги надо еще заиметь. Анелька, полька, что работает с нею, отдала ей свои, старые. Сапоги ничего, но все-таки промокают. Майя стаскивает их тотчас же, как приходит в лабораторию. Здесь у нее «тапочки» – тоже дала Ане ля – старые обрезанные валенки.

Конечно, ей здорово повезло. Лаборатория – сердце завода. Именно здесь решаются вопросы качества спирта. От этого зависит оценка работы завода. Даже конторские фифы с ними не лаются. Только у них в лаборатории можно интеллигентно попить чаю, а если занедужил – капнут чего-нибудь покрепче. Все в шкафах под замком, а ключи у одного человека – Георгия Георгиевича Земмера.

Земмер – начальник лаборатории. Невысокий, рыхловатый, он смотрит на Майю ясными голубыми глазами. Белые ресницы длинные, как у девушки. Волосы чуть темнее. Ему нет и пятидесяти, но Майе он кажется пожилым. Чистоплотен до фанатизма. Химпосуда должна блестеть. На ней не должно быть ни пятнышка. Химстол – священное место. Подходить к нему можно лишь в чистом халате. Заплаты разрешаются.

Земмер – немец, сосланный в сорок первом. Бывший завлаб саратовского номерного завода. Детей не имеет. Страдал от этого, а теперь даже рад: их бы тоже сослали. Как и Майя, не может понять, как, не инкриминируя ничего, можно лишить человека свободы только за то, что он принадлежит к какой-то национальности. В лаборатории днюет и ночует. Пол года назад умерла его жена. Умерла тихо, спокойно. Вот бы и ему так. Майю учит всему, что знает сам. Оба любят химию. У обоих нет больше ничего.

Писать домой позволено. Она написала уже три письма. Не получила еще ни одного. Может, разрешат приехать маме или отцу – ведь всего семьдесят километров.

Условия в общежитии неважные. Чтобы сварить, надо растопить плиту. Дрова сырые, уголь – крошка. Вечером, когда приходит с завода, долго мучается с печкой.

В заводском магазине, кроме чая, спичек и соли, ничего нет. Да и магазином это не назовешь. Так, ларек. Иногда привозят хлеб. Двести пятьдесят рублей определили Майе за работу. Десять дали авансом.

Никто ни о чем не спрашивает. Женщин, что ехали с нею в вагоне, а потом на машине, распределили по колхозам. Ее одну на завод направили. Наверно, потому, что она химик. Конечно, недоучка, но все-таки химик.

Есть хочется все время. Она худеет и худеет. Хлеб, что удастся купить в ларьке, сгорает, как в топке. Георгий Георгиевич все время ей что-нибудь подсовывает – кладет сверток в газете на ее рабочее место. Ей очень стыдно, но отказаться, вернуть – не в силах. Как нищенка...

Март проходит незаметно, а в первых числах апреля – письмо из дома. Пишет мама. Почерк странный, прыгающий. Надо держаться. Все выяснится. Они начали уже хлопотать. Написали, куда следует. Майя ни в чем не виновата. Она не совершила никакого преступления. Они постараются приехать к ней при первой же возможности. Они любят и помнят ее...

Она пишет домой почти каждый день. Письма получаются длинные. Она перечитывает их по несколько раз – не дай Бог, хоть какой-нибудь намек. Письма проверяют.

Отец приезжает в мае, второго, рано утром. Один. Говорит, мама чувствует себя неважно. Оставил ее с Феликом. Он очень изменился – ее отец. Худой, почерневший. Голос хриплый, срывается. Что-то случилось. Сутки они вместе, у Георгия Георгиевича. Отец, как в лихорадке. Что-то случилось...

В полдень, третьего, она его провожает. Навез ей всяких продуктов, два платья, жакет на подкладке. Где такой купили? Туфли, сказал, с оказией пришлет. Так и сказал: пришлет. Почему в единственном числе? Почему мама даже записки не написала?

Она не задает вопросов. Знает, точно знает: что-то случилось. Может, даже непоправимое. Втроем ночью много говорили. Отец не побоялся третьего, откровенен был. Сейчас, после войны, особенно виден разлад между словом и делом. На войну больше не спишешь. Все формулировки, все лозунги от него, от вождя нашего. Он никому не доверяет. Как реализовать на практике свои лозунги, не знает, потому что давно не имеет понятия, как живет народ. Реальная правда потеряна. Все расплывается. Все, кто видят правду и не молчат, – враги, кто заведомо лжет – друзья. Кому это надо? Куда идем? Или с ума все сошли?

Что умерла мама, отец написал ей только через месяц. Почему не сказал при встрече? Берег? А может, так самому легче было? Георгию Георгиевичу сказал, а ей нет. Просил подготовить.

А она знала, чувствовала. В подсознании была уж готова. Когда смерть близкого неожиданна, горе фонтаном выплескивается. Когда к горю готовишься, оно не сражает наповал, но берет цепко, забирает, затягивает, не дает забыть ни на минуту.

Она проплакала день только раз. Работала, мыла химпосуду, а слезы текли. Анеля принесла из медпункта валерьянки, но и после снадобья слезы не унялись. Георгий Георгиевич заставил ее пойти к нему домой. Напоил чаем. Уложил. Она провалилась до утра.

Теперь ее постоянно мучили мысли о Фелике. Она забрасывала родных письмами, отвечать на которые у отца не было никакой возможности. Но ноябрьские праздники они встретили вместе. Фелик и отец приехали к ней в поселок. Фелик ласковый, тихий. Жметесь все время к отцу. Георгий Георгиевич старается расшевелить, развеселить мальчика.

Думала ли в эти сорок месяцев о Шуре? И да, и нет. То есть, конечно, думала. Но это было так далеко, как будто в иной жизни. Одна, только одна мысль довлела над всем: выстоять, не потерять себя, не замараться. Ужас кончится. Должен кончиться.

Это началось, наверно, в середине июня. Он зашел в лабораторию и сказал: Майя должна явиться к нему в десять, десять вечера. Он – это Лихоткин. Высокий, плечистый мужчина. Сорок – сорок пять ему. Чистый спирт выпивает, не закусывая. Если спирт ничем не закусывать, перегаром не пахнет. Толстые губы определенного очертания не имеют. Он всегда в фуражке. Ни разу с «босой» головой его не видела. Лихоткин – спецкомендант. Помощников у него нет. Каждые десять дней она, Анеля, Георгий Георгиевич и другая такая же шваль приходят сюда, в белый чистый саманный домик, на отметку. В журнале, что подает им Лихоткин, свидетельствуют: не сбежали, не совершили диверсий, не продали Советскую власть, не сдохли. Их числа – пятое, пятнадцатое, двадцать пятое. У других, например у Нади-ингушки, – шестое, шестнадцатое, двадцать шестое. Так что работы у Лихоткина хватает: каждый вечер с семи.

К ней, Майе, вопрос у Лихоткина один: что думает она о товарище Сталине. Она отвечает, что думает, конечно, хорошо. Он – вождь, он – учитель, он – друг народа. Без него государство пропадет. Она болтает что-то еще, а глаза коменданта наливаются красной влагой. Кажется, вот-вот взорвется огромная потная плоть. Но проходит минута, другая, и то, что называется Лихоткиным, вдруг начинает сжиматься, тускнеть, становится вялым. Он приносит что-то невнятное. Майя догадывается: она может идти. Ей не страшно. Ей очень, очень противно...

Ночные вызовы продолжаются все остальные месяцы несвободы. Георгий Георгиевич не отпускает ее одну. Ждет на улице, какая бы ни была погода. О вызовах знают все, понимают: не о лояльности печется проклятый садист. Удовлетворяет так свою похоть. Притронуться к Майе боится. Знает: закричит, заорет, позовет на помощь.

Амнистию Берия объявил после смерти Сталина. Посыпались на волю уголовники. Несколько краж в поселке – проходили мимо гастролеры. В тот день, третьего июля пятьдесят третьего, Лихоткин вызвал ее на семь вечера. Пошла одна. Не побоялась. Чувствовала, конец мракобесию приходит. Именно так и понимала: мрак, а во мраке – скачущие бесы. Не побоялась. Знала, если что – зубами, ногтями будет драть проклятого. Она сильная, она изловчится.

Лихоткин был выбрит. Лихоткин был вежлив. Так вежлив, что даже обратился к ней на «вы». Дал расписаться в какой-то бумаге. Не успела ее рассмотреть. Сказал, может брать расчет и уезжать. Так и сказал.

Она прожила еще десять дней: Георгий Георгиевич серьезно расхворался. Он радовался, очень радовался ее освобождению. Как отец, любил ее. И она сердцем прикипела. Душа

разрывалась: что с ним будет. Но не могла, не могла она ничего сделать: на разрешение ему уехать уйдут месяцы. Да и дадут ли?

Десять дней, сбегая при малейшей возможности с работы, просидела у постели больного. Говорила, как втроем – она, отец, Фелик – приедут его навестить, как начнут немедленно хлопотать о переводе его в город, как подыщут ему подходящую работу...

Сборы были недолги: чемодан да узел с одеялом и зимним пальто. Надя-ингушка (Анеля уехала в пятьдесят втором в Польшу) обещала присматривать за больным. Только ненужным оказалось это. Умер Георгий Георгиевич. Через неделю после ее отъезда умер. Умер, как хотел: тихо, во сне.

Десять дней пробыла она дома. Отец работал допоздна. Фелик – тихий, молчаливый, с мамиными серыми глазами приучен к домашним делам. Майе нечего дома засиживаться. Нужно ехать, в университете восстанавливаться.

В деканате встречают настороженно. Зато Борис Александрович – будто и не было этих сорока месяцев. Завкафедрой органической химии заприметил ее еще в первом семестре. Теперь, когда руки ее работают по-настоящему хорошо, ей не стыдно его покровительство. Борис Александрович принес список литературы. Если сможет быстро одолеть, есть надежда наверстать упущенное. Общеобразовательные подгонит по индивидуальному плану, с немецким все в порядке: Земмер и здесь постарался.

Работа не страшит. Работы никогда не боялась. Но как войти в коллектив? Как с людьми нормальными жить? Девчонки молоденькие, фронтовиков всего двое. Надо восстанавливаться в комсомоле. В сорок шестом, когда принимали, никто не заикнулся о ее родителях. Надо написать заявление. А там – что будет.

В октябре Борис Александрович говорит: можно рассчитывать на экстернат. Добиться этого, видно, было ему нелегко. Доверие надо оправдывать.

Работает как одержимая: сон и лаборатория, лаборатория и сон. Диплом защищает весной пятьдесят четвертого. Оканчивает только на год позже тех, с кем начинала. Распределения хорошие: НИИ Москвы, Ленинграда, Харькова. Начинается «большая химия». Ей официально предлагают аспирантуру.

Двадцать пять лет ей. Нет, она не собирается стать монашкой. Было несколько встреч, не оставивших и следа. О Шуре знает: успешно окончил институт, в аспирантуре. Письмо после шестилетнего перерыва приходит в январе пятьдесят шестого. Из Москвы письмо. Шура на курсах усовершенствования. О себе пишет мало. Зовет встретиться. Как узнал ее адрес – непонятно. Хотя, если человеку нужно, всего добьется.

Что такое любовь? Тогда, в те далекие годы, казалось иногда – животный инстинкт. Когда руки его скользили по ее груди, они обжигали обоих. Его взгляд блуждал, он ничего не видел. А она видела. Видела и, ловко извернувшись, выскальзывала. Он трезвел. Тогда ей становилось жаль ушедшего мгновения. Она пробовала вернуть его. Не получалось. Они ссорились. Думала: решишь на последнее, разреши все, уйдет то, что называла любовью. А может, вообще нет любви? Все – привычка. Тогда почему так жгут его прикосновения? Почему помнит о них? Она презирала себя, бранила, мысленно говорила ему всякие грубости, но приходил вечер, и она ждала...

Она ревновала. Ей казалось, у него кто-то есть. Но, отрезвев, смеялась: в их маленьком мирке ей тут же стало бы известно. Стыдилась своих мыслей, корила, пыталась прийти к какому-то решению, а мысли снова и снова шли по кругу.

Теперь им было по двадцать пять, и он звал ее. Как чумовая, едва отпросившись у Бориса Александровича, бросилась в Москву. Комната на Большой Ордынке. Она так и не поняла, кто пустил его, кто дал ключ. Через столько лет разлуки они были вместе, они были вдвоем...

Теперь она уже ничего не боялась. Он, только он – ее возлюбленный, ее мужчина, ее муж. Они вспоминали, как когда-то, кокетничая – капризы ее иначе не назовешь, – заставляла его

смотреть на себя «влюбленными» глазами. Теперь его глаза неотрывно следовали за ней. Они говорили, вспоминая все самые мельчайшие подробности их прошлой жизни, но останавливались как вкопанные, когда доходили до ее ареста и их теперешнего положения. Она понимала, даже точно знала: что-то есть, что-то мешает их дальнейшей судьбе, но какое это имело значение? Он позвал ее, он был рядом, он любит...

Она чувствовала, как преобразается под его взглядом. Она прикрывала глаза длинными темными ресницами, стараясь не думать ни о чем хотя бы в эти часы. Вволю настрадавшись, знала: у счастья нет завтрашнего дня. У него нет и вчерашнего. У него есть только настоящее – и то не день, а мгновение. Это очень верно у Тургенева...

Она извела, она познала теперь главное в любви – страсть. Нет, это не грязь. И притворяться не нужно. Это огонь. Огонь, очищающий и облагораживающий, делающий душу живой. А Шура пел. Пел только для нее:

И поверь, во вторник или среду —
Точно я и дня не назову —
Прилечу, приду к тебе, приеду
И скажу, целуя наяву...

Только он умел так перебирать струны, только его шелковые темно-русые волосы могли такой огромной копной свешиваться к гитаре, только его голос мог быть таким тихим, нежным и чистым.

Она уехала из Москвы к концу третьих суток. Через месяц, уже из дома, он написал ей, что женат и на днях стал отцом двойняшек.

Теперь усердие ее в работе доходило до самоистязания. Что другое могло спасти? Она защитила диссертацию на год раньше срока. Все вошло в какое-то определенное русло. А душа была пуста. Пуста и озлоблена. Понимала – озлобление диктует самое дурное, но ничего не могла поделать.

Много веков назад Публий Папилий, римский поэт, сказал: богов создал страх. Чтобы покорить людей, сделать из них послушных рабов. Боль, страдания вызываются чем-то реальным. Страх рождается при их предвосхищении. Он возникает, когда человек чувствует над собой враждебную силу, которую не может преодолеть, когда не знает, что ждет его впереди. Страх доводит до ужаса, до подавленности, до оцепенения. Страх родит безысходность. Она понимала: все разрушающая машина, созданная Сталиным и именуемая страхом, теперь, после его смерти, только чуть-чуть зашаталась. Боятся все – снизу доверху и сверху донизу. Нет никого, кто бы не боялся. Каждый, хоть сколько-то думающий, знает: завтра и он может попасть под колесо этой машины. Спаситься, убежать, спрятаться невозможно. Некуда. Нужно или кончать жизнь, или пытаться находить в этом насилии, угнетении, попрании какие-то островки, за которые можно уцепиться, держаться, не упасть. Таким островком могла быть работа, только работа.

Конец пятидесятых. Она ходит по инстанциям. Надо перевозить отца с Феликом. Но где жить? Долгими, бесконечными очередями выстаивает у дверей приемных. Нужно доказать, что отец жил в этом городе с двадцатого, имел комнату. Наконец – о счастье! Бумага подписана. Освободилась восемнадцатиметровка в бывшем доме Кекина. Так близко от университета. Школа для Фелика тоже рядом. Отцу они найдут работу.

Неуклюжий, эклектичный, их дом, как корабль, разрезает надвое улицу. Четвертый этаж. Окно выходит во двор, на склады магазина. Комната в приличном состоянии. Ремонт нужен небольшой.

Они вместе. Фелику почти четырнадцать. Глазастый, длинный, худенький. К отцу привязан до боли, до слез. Работу отцу находят только в промкомбинате. Конечно, он совсем отстал

за эти долгие годы. Забыл, когда открывал книжки по химии. Катать пимы и шить телогрейки можно и без книжек. Все, что когда-то так хорошо начиналось – институт, преподавание на рабфаке, пошло псу под хвост. Отец никогда об этом не говорит, но молчание многого стоит. Он плохо спит.

«Химичень» в промкомбинате поставлено на самую широкую ногу. Надо либо вместе со всеми, либо... Поэтому они счастливы, когда через по л го да отцу предлагают место мастера в ПТУ. Он будет учить ребят кожевному делу, технологии кожевного производства. Училище при промкомбинате.

Только весной семидесятого они получают, как семья реабилитированного, квартиру. Две маленькие несмежные комнатки. Фелик, стройный, красивый, двадцативосьмилетний, как две капли воды похожий на маму, заявляет: подал документы в армию, в кадры. Грамотные авиационные инженеры и там нужны. Она понимает: он делает это потому, что хочет, чтобы она вышла замуж. Считает, что они с отцом «заели» ее молодость, ее личную жизнь. Глупый мальчик. Разве можно «заесть» то, чего нет...

А нет у нее ничего, кроме свидания с Шурой в феврале шестьдесят четвертого. В их городе какое-то юридическое совещание или съезд. Шура живет и работает на Урале. В места их юности не вернулся. Преподает в институте. Доцент. В профессора, как мечтал Шалимов-старший, не вышел. Девочки-двойняшки уже большие, жена учительствует.

На дворе февраль, а она не может пригласить Шуру домой: отец ненавидел Шалимова-старшего, не жалуется Шалимова-младшего: считает виновником Майинового одиночества. Остается одно: две серии какого-то фильма в теплом кинозале, потом кафе до момента, когда уборщица спрашивает, не собираются ли они тут заночевать, потом улицы – улицы города, ее родного города...

Она показывает ему дом, где родилась, и вспоминает, как с мальчиком ее детства Гогой удирали на Черное озеро. Заглядывают в каждый уголок университетского двора, где два корпуса увешены мемориальными досками в честь самых знаменитых химиков. Спускаются вниз, к озеру Кабан, и идут к мечети Марджани – самой старой и красивой. В темноте ночи смотрят вверх, на пустую площадку, с которой муэдзин созывает верующих на молитву. И тогда, неожиданно для Шуры и для себя, она спрашивает, что сказал бы он, о чем поведал бы миру, если бы Аллах вознес его сюда, на эту высоту.

Лицо Шуры становится неузнаваемым. Она видит его глаза, наполняющиеся слезами, его дрожащие губы. Он плачет. Плачет навзрыд. И успокаивается только тогда, когда она начинает гладить его лицо, греть в руках его холодные пальцы.

Да, у него есть все: работа, жена, дети. У него нет одного – любви. И если бы Аллах вознес его на муэдзинову площадку, он сказал бы только одно: как горько, как страшно, как безысходно, когда предаешь любовь...

...Господи! Столько лет прошло, а она все помнит. Все до мелочей. Так за что же вчера виноватила ее эта девочка?

Что сделала она в жизни такого, за что можно так упрекать? Может, за отца, который шестнадцатилетним юнцом пошел защищать революцию? Так он же поверил. Всем сердцем поверил, что будет строить справедливую жизнь – разумную, достойную. Верили старики в светлое будущее. Верили. Ждали его. Надеялись.

А они? Ее поколение? Ни во что уже не верили. Но руки на собраниях тянули. Тянули и ввали. Значит, есть девочке за что ее виноватить...

А потому остается одно – попросить, как попросила когда-то Анна Андреевна Ахматова в Фонтанном Доме:

Ты все равно придешь – зачем же не теперь?
Я жду тебя – мне очень трудно.

Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.

1990 г.

Я НЕ ПЛАКАЛА В ТОТ МАРТОВСКИЙ ДЕНЬ

Девочка моя! Ты прочтешь эти строчки, когда коллеги мои – эскулапы – будут мудрствовать надо мной. Что делать? И меня Всевышний позвал на расправу...

Я не зову смерть, но и не боюсь ее. И если уж совсем честно – немного устала. Одно, только одно гложет душу: ты не знаешь всей правды обо мне и о себе. Не сказала раньше. Нельзя так уйти.

Доченька моя! Я благодарна тебе за ум, такт, выдержку. Ты никогда не пыталась меня вполне оправданными для нашей жизни вопросами: кто твой отец, почему у нас нерусская фамилия. Ты ни разу не упрекнула меня горьким словом «безотцовщина». Ты понимала: в моей жизни было такое, о чем человек не хочет вспоминать, старается забыть навсегда. Я счастлива, что судьба одарила меня тобой...

Мы часто говорили о моем раннем детстве – до войны. Ты знаешь, мой отец, мать, бабушка – бабушки уже не было – жили на Госпитальной улице в Лефортово, во дворе, во флигеле. Флигеля этого давно уже нет. Я очень любила наши с дедом прогулки в Головинском саду, особенно по липовой аллее, которая шла вдоль Яузы. Какое счастье было, когда в жаркий летний день дед вел меня купаться на пруды, а потом мы долго сидели в гроте с белокаменными колоннами.

Иногда ходили на Кадетский плац – это теперь Краснокурсантская площадь. Там маршировали и пели красноармейцы. В погожие дни шли к Екатерининскому дворцу, где в девятнадцатом дед слушал Ленина.

Дед, наборщик, работал на фабрике «Красный пролетарий» Партиздата, а перед самой войной – во Второй типографии ОГИЗа. Тощий, с белой, как лунь, головой, он, видно, очень боялся, чтобы мать с отцом не съехали от него и вообще не умотали куда-нибудь за тридевять земель: они были геологами.

Отец с мамой учились на одном курсе, и старики сразу приняли невестку. Мама – высокая, стройная, сильная, с короткой стрижкой густых волнистых волос – была хороша собой. Она приехала в университет с Украины в двадцать седьмом году. Когда вспоминаю ее, думаю: такие женщины созданы для большой семьи, а она родила только меня. Ей впору было управлять с целым семейством, а она не растила даже меня – бесконечные командировки. Дед – мой изначальный воспитатель.

Трагедии предвоенных лет не коснулись нашей семьи только потому, что дед был беспартийный и, поняв обстановку, со всеми, кроме матери и отца, молчал. Отец, хоть и был коммунистом ленинского призыва, все время находился в геологических партиях – делах трудных и мужественных, куда всякая шваль и доносчики не очень-то лезли.

Я рассказывала тебе, как 22 июня сорок первого во время речи Молотова плакала, приговаривая: «Все равно разобьем этих проклятых фашистов», как дед и отец сразу пошли в военкомат, но там сказали: «Подождите». Деду – из-за возраста, отцу – из-за работы: в начале июня он был назначен начальником большого отдела в наркомате.

Бомбить Москву начали в конце июля. В наш дом вошли слова «оборонительные работы». В первой половине октября бои под Москвой стали очень тяжелыми, но нас уже не было. Дед, мать, я и отец уехали из города двадцать восьмого сентября. Уехали не по своей воле. Воля была чужая. Нас выслали, как ссылали когда-то за убийства, грабежи, инакомыслие...

Нас выслали, потому что в паспортах деда и отца в графе «национальность» стояло слово «немец».

В нашем с тобой «пятом пункте» написано «русские». Моя мать – твоя бабушка – русская. Русским был и твой отец. Но в паспортах моего отца и деда значилось «немец». В тот момент это было равносильно – фашист, убийца, предатель.

Мы с мамой могли не ехать. Но как жить, предав родных? Эшелон шел дни и ночи. Подолгу стояли на каких-то маленьких станциях. Куда едем – не знали.

Верно, были первые числа октября, когда, проснувшись, увидели большой вокзал, – конечно, не такой, как в Москве, но довольно приличный, первый снег и необозримую степь. Степи не было конца. Только с одной стороны она была загорожена вокзалом, три другие – смыкались с горизонтом.

Город, куда привезли, был бывшей станицей сибирских казаков: завод, три школы, больница, гидрогеологическая станция и городской совет. Северный Казахстан. Геологи искали здесь воду, бурили артезианские скважины.

Щиты плохо укрывали от холода. Теплых вещей было мало. Все тряпки – на мне. Дед и отец – в драповых пальто, мама – в короткой шубейке. Не могли они согреть, когда сутками на ветру. Деда не стало на десятый день. Наверно, воспаление легких: врачей ведь тоже не было.

Не было и работы. Собственно, она была. Шла война, и работы не могло не быть, но мать и отец были врагами, им нельзя было доверить геологию.

Жили мы теперь в клубе – бывшей церкви. Церковь деревянная, без икон, топились две печи. В больших чугунах – их на что-то выменяли – варилась на всех еда. Нас было человек тридцать: из Москвы и Подмосковья.

Маленькой я плохо сходилась с людьми, да и теперь не очень контактна, но капитан Григорьев покорила меня сразу. Высокий, стройный, он не входил, а врвался в нашу церковь, и с его приходом появлялась надежда. Он что-то выяснял, убегал «утрясать», снова появлялся, а однажды – это было дней через пять после смерти деда – повел нас в дом, бывшую почту, где вместе с Земанами нам дали комнату. Земанов было четверо: отец, мать и две девочки – Аля и Тома.

Григорьев дал не только жилье. Он дал работу: теперь отец и мама работали мастерами на гидрогеологической станции, Земан – в горторготделе, Земанша – в детских яслях.

Зиму сорок первого – сорок второго почти не помню: тоска по деду заслонила все. Просыпаясь ночами, долго плакала. Мама укрывала меня, целовала, обещала весной посадить на могиле деда такие же цветы, какие росли у нас в Москве, в палисаднике.

До войны я закончила два класса. Были похвальные листы, был заводной заяц, игравший на барабане, были книжки, купленные дедом на Арбате. Теперь кончался октябрь сорок первого и надо было начинать учиться.

Мы с Алей пошли в один класс – третий «б». Школа – приземистая, одноэтажная – была похожа на барак. Электричества не было, керосиновых ламп не хватало, потому в ход шли склянки из-под лекарств с узким горлышком. Вставив металлическую пробку с дырочкой, протаскивали марлевый фитилек. Он быстро высыхал, начинал чадить и гас. Наверно, каждые полчаса приходилось обмакивать его в керосин. Пузырек ставили на верхний, толстый край доски – доска была стоячая, и класс вылезал из мрака.

С Алей, хоть и жили вместе, быстро разошлись. Она не любила читать, а я после уроков шла к Фире Ситдыковой – у них было много книг.

Родители вечерами теперь всегда были дома. Командировок не было. В их паспортах стоял штамп: выезд за пределы города запрещен.

Весной сорок второго на дедушкиной могиле посадили какую-то красивую травку – такой в Москве я не видела. Все лето ушло на уход за огородом. Дни были длинные, погожие.

Начало четвертого класса запомнилось приемом в пионеры. Капитана Григорьева не было, он уехал на фронт, а командовал теперь нами Трибух, который лез к маме. Трибух был против приема меня и Али в пионеры, и отец написал в Алма-Ату. Разрешение пришло быстро.

В белой кофточке, сшитой из простыни, в серой юбке, переделанной из дедушкиных брюк, стояла я в строю второй от начала – была рослой. Не знаю, где взяли эти настоящие сатиновые галстуки, но алели они словно маки. У Али был шелковый, Томкин, довоенный. Гремел барабан. Мы давали торжественное обещание.

Учиться любила всегда, но сорок второй – сорок четвертый больше запомнились госпиталем. Он был в бывшей трехэтажной школе, выстроенной перед самой войной. Госпиталь был немаленький – в каждой палате-классе человек по пятнадцать. В сорок четвертом нам с Алей доверили несложные перевязки.

Когда немцев отогнали от Москвы, отец первый раз написал Сталину. Научил его дядя Сеня Ракитин, который жил в городе с тридцать седьмого. Был выслан из Москвы из-за брата – «врага народа». Дядя Сеня объяснил, куда и как писать, как отправить письмо – бросить прямо в почтовый вагон.

В письме отец говорил, что воюем мы не с немецкой нацией – нация не может быть плохой или хорошей. Немецкая нация дала Гете и Шиллера, Гейне и Бетховена. Воюем мы с фашизмом, который исчервоточил, разъял эту нацию. Он же, Герман Рейсгоф, не фашист, хотя в паспорте его стоит «немец». Никакой другой власти, кроме Советской, не знает и считает позорным и несправедливым уравнение его с фашистами, а потому просит одного – отправить на фронт.

Отец писал Сталину потом еще несколько раз. Ответа не получил ни одного.

В сорок пятом, после войны, родителям разрешили ездить в пределах области – город стал областным центром. Отца теперь не видели неделями, маме тоже случалось по два-три дня не быть дома. А жили в то время в доме около гидростанции, в комнатке с большой плитой, тепло от которой шло только тогда, когда она топилась. Кочегарила я, и однажды случилось несчастье. Не посмотрев как следует, что в духовке, затопила и побежала к Але за задачником. Меня не было, наверно, минут двадцать, но когда подбегала к дому, густой черный дым валил из форточки: Муська, Мусенька, моя красавица-кошка была мертва...

Мама должна была приехать на следующий день. Что делали соседи в нашей комнате, не помню: ревела до изнеможения. Но люди, люди тогда и правда по-человечески друг к другу относились. Взять хотя бы дядю Сеню. Маленький, худенький, одни очки на лице. Работал чертежником на гидростанции, а был дипломированным инженером, имел патенты на изобретения. Знал в городе всех и все. Помню, как мама приговаривала: что бы мы, Сеня, без вас делали... От дружбы с нами не имел никакой корысти. А когда появилась тетя Лина, изящная, тонкая, со слегка склоненной набок головой – оттягивал тяжелый узел волос, они стали приходить с гитарой. Тетя Лина пела тихо и протяжно. В пятьдесят четвертом, когда дело дяди Сени было пересмотрено военным трибуналом Московского военного округа и за отсутствием состава преступления производством прекращено, когда выдавали ему новый чистый паспорт, молодой сотрудник спросил его: «Семен Ильич, так за что же Вы отбывали семнадцать лет ссылку?» Дядя Сеня затрясся в истерике.

Приходили Гестнеры – дядя Петр и тетя Милена – с маленькой Лялькой на руках. Лялька была плаксой, но очень хорошенькой – таких на картинках рисуют. Были они с юга, из Симферополя. Инженеры-железнодорожники. Тетя Милена всегда прибегала ко мне, когда мама уезжала в командировку.

А вот с Земанами сложились странные отношения. Внешне вроде бы ничего, но Земанша часто подчеркивала, что немцам свойственна особая аккуратность. Немцы – культурная, чистоплотная, хозяйственная нация. И она этим очень гордится. Маму это бесило и меня тоже, потому что это было и так, и не так. Мама отвечала, что она знает немцев, у которых и не очень-то чисто, а вот у Антонины Михайловны, соседки нашей местной, такой блеск, что и сесть боязно. Нет и не может быть чистоплотных и грязных наций, говорила мама, есть люди

аккуратные и неряхи. Разве не грязные свиньи фашистская солдатня, озверевшая, потерявшая человеческий облик?

В начале сорок седьмого, война уже два года как кончилась, родители подписали типографские бланки, в которых значилось: если ты – такой-то – без разрешения спецкомендатуры выедешь за пределы области, тебе грозит наказание: тридцать лет каторги.

Отец перестал спать. Всем, кто приходил к нам, он совал сталинский доклад «О проекте Конституции СССР», где черным по белому было сказано, что, в отличие от конституций буржуазных, наша – глубоко интернациональная, исходит из того, что все нации и расы равноправны, что разница в цвете кожи или языке, культурном уровне или уровне государственного развития, равно как и другая какая-либо разница между нациями и расами, – не может служить основанием для того, чтобы оправдывать национальное неравенство. Конституция исходит из того, что все нации и расы, независимо от их прошлого и настоящего положения, независимо от их силы или слабости, должны пользоваться одинаковыми правами во всех сферах хозяйственной, государственной и культурной жизни общества.

Так говорилось в сталинской Конституции тридцать шестого года. Такие там были красивые и правильные слова. А на деле был бланк, в котором значилось: если ты, сволочь паршивая, немец, сунешь нос за очерченный тебе круг, получишь «тридцатку». И получали...

Отец превратился в тростинку. Огромные черные круги под глазами – все, что осталось от его лица. «За что? За что?» – только эти слова слышали мы от него.

Моя по-настоящему сознательная жизнь началась в девятом классе. В сентябре сорок седьмого пришел новый учитель – Георгий Иванович Гросс, бывший доцент-биолог Саратовского мединститута, тоже спецпереселенец. Приехал в город откуда-то из колхоза, работал счетоводом. Невысокий, коренастый, черноволосый, он вдруг заговорил о таких вещах и так, что прозвенел звонок, прошла перемена, а мы сидели, не шелохнувшись. Жизнь, состоявшая для нас в добычании еды, дров, угля, мытья полов, чистки клетей у скотины, в школьных вечерах, на которых одноногий баянист играл «На сопках Маньчжурии», – вся эта жизнь предстала вдруг в какой-то необыкновенной многогранности. Мы молчали. Но уже после второго или третьего урока, тщательно подготовившись, я задала вопросы. Не помню, в чем была их суть, но Гросс принес мне две книги: «Основы химии» Менделеева и «Дарвин и его учение» Тимирязева. Тогда впервые я их прочитала. Тогда появилась мечта стать биологом или врачом.

Весь десятый класс прошел в нервотрепке. Училась хорошо, но, чтобы хотя бы помыслить о дальнейшей учебе, нужна была медаль – только она давала право поступать в институт без экзаменов.

Двадцатое мая. Наглаженные, начищенные, в форме – первый год ее стали носить – садимся по одному в зале. Руки дрожат, слушаются плохо. Тамара Васильевна выводит на доске: «Онегин – лишний человек», «Обличение купечества в драме Островского “Гроза”», «За что я люблю свою Родину?» Последняя тема – свободная. Пиши что хочешь. И я пишу. Пишу восемь с половиной тетрадных листов – семнадцать страниц. Проверить успеваю только раз: четыре часа промелькнули, как мгновение. Через два дня в местной газете снимок с изображением наших склоненных голов и небольшая статья, половина которой – цитата из моего сочинения.

Срезали на математике – по алгебре, геометрии, тригонометрии поставили четверки. О продолжении учебы нечего было и думать. Взяли работать на гидростанцию. Гросс прозанимался со мной все два года, что работала секретаршей. В пятьдесят втором отца вызвали в МВД: если дочь хочет учиться дальше, может подавать документы в Омск – самый близкий институтский город.

Говорят, первый курс обычно мучителен: новая обстановка, новые правила учебы. Мне же он помнится необыкновенным ощущением свободы. Я – как все. Нет постоянных разговоров о нашем горе.

Зима пятьдесят второго – пятьдесят третьего запомнилась публичной библиотекой: проглатываю «Открытую книгу» Каверина в «Новом мире». Все так близко и интересно. А еще – встречей с Сашей.

Словарь определяет страсть как сильное, стойкое, всеохватывающее чувство, доминирующее над всеми другими. Не могу сказать, что чувство к Саше заслонило все. Я по-прежнему с интересом училась, часами просиживала в публичке, но мне постоянно хотелось, чтобы он был рядом. Да он и был рядом – ведь учились мы в одной группе, а к библиотеке я его быстро приохотила.

Светловолосый, кареглазый, среднего роста, он был необыкновенно ласков. Как девочка. Саша – Александр Иванович Семенов – твой отец. У тебя такие же карие глаза, а вот волосы мои – темные.

Вместе жить стали в ноябре пятьдесят третьего. Мы не спрашивали друг друга ни о чем. Мы просто ни на минуту не расставались. Мы были едины. Теперь, по прошествии многих лет, думаю: это была, прежде всего, какая-то крайняя необходимость в близком, родном человеке.

В декабре пятьдесят четвертого поняла, что беременна. Об аборте не могло быть и речи: это было противно, противоестественно. Домой решили не писать. Рожать предстояло в августе.

Я ходила на лекции и практические занятия до последнего дня. Саша всегда был рядом. Теперь ночами он разгружал на станции вагоны. Платили хорошо. Грязный, голодный являлся домой под утро и засыпал на несколько часов мертвецким сном.

В середине июля осталась одна: Саша должен был либо ехать домой, либо написать обо всем родителям. Письма от него приходили каждый день. Потом рассказывал, что мать сразу заметила неладное, пробовала спрашивать.

Из роддома забирала меня Милочка – Люда Спивак. Помнишь тетю Милу и ее маму Цылю Абрамовну? Ведь ты росла на их руках.

Саша приехал, когда ты стала большой – двадцать дней. С тобой он тоже был ласков: пеленал и баюкал, стирал и бегал в консультацию за молоком: мое пропало. Материально было трудно. Саша продал свое новое зимнее пальто.

Мы учились на третьем курсе – лекции, клиники. Тебя относили к Цыле Абрамовне – она работала через день – или к соседке, которой надо было платить. Саша сказал, что напишет матери, во всем признается и попросит забрать тебя. Но я сказала: нет.

Спросишь, почему? Ведь обычное житейское дело. Поступила так потому, что не собиралась оформлять отношения с Сашей. Нет, нет! Он не обидел меня, и я его любила. Не могла, не имела права этого делать потому, что его отец, полковник Иван Николаевич Семенов, был начальником колонии в Омской области, где сидели люди по пятьдесят восьмой – политической – статье. Я не знала, добрый твой дед или злой, хороший или плохой, понимала лишь одно: не могу, не имею права портить жизнь Саше: последствия женитьбы на спецпереселенке не замедлили бы сказаться на всей его семье. Не могла пойти на это. На шестой семестр Саша перевелся в Томск: так было лучше для обоих – меньше терзаний. Оставшись на «свободе», обязана была теперь решать все за двоих. И я написала родителям.

С начала пятьдесят второго им дали солидную прибавку к зарплате – полевые, за выслугу лет. И мы каждые две недели стали получать посылки: коржики, которые таяли во рту, жареную свинину в пергаментной бумаге, собственного изготовления колбаски. Я тратила деньги только на хлеб и молоко. Мы стали богатыми – могли приглашать гостей. И они не замедлили явиться: девочки любили с тобой повозиться.

Третий курс был закончен с одной четверкой – по фармакологии. Меня взяли на лето сестрой в железнодорожную больницу, тебя – в железнодорожные ясли. Саша писал все реже.

Маме и отцу очень хотелось взглянуть на тебя, но приехать они не могли: и моя, и их несвобода не имели конца. Без разрешения МВД мы не могли сделать и шага.

Пятого марта умер Сталин. Многие тогда сорвались в Москву. Дежурства у портретов. Люди плакали, некоторые навзрыд. Не плакала я в тот день. Не плакала. Не было у меня слез...

На четвертом курсе началась специализация: я выбрала хирургию. Теперь, когда ты ходила в ясли – они почему-то работали до девяти вечера, – можно было подумать и о научном кружке. Я пошла к профессору Самарцеву.

Время летело быстро – едва успевала голову до подушки донести. Ты росла спокойной, рассудительной. Мы с тобой очень дружили. А двадцать шестого января пятьдесят пятого – оставалось пять дней до срока: я ходила отмечаться первого, десятого и двадцатого каждого месяца – меня вдруг вызвали в областное управление МВД. В спецкомендатуре принимал всегда один и тот же майор лет сорока пяти с серым бесстрастным лицом и тяжелыми мешками под глазами. За два с половиной года не задал ни одного вопроса. Расписавшись в журнале, молча уходила. Теперь передо мной сидел холеный человек с тремя большими звездами на погонах.

– Слышал о ваших успехах у профессора Самарцева. Подаете надежды. – Он попросил разрешения закурить. – Мы посоветовались и пришли к заключению о снятии с вас всяких ограничений. Именно такие специалисты нам и нужны.

Не знаю, что ждал он от меня в ответ: встретилась с его выжидательным взглядом. Но никогда, никогда не смогу передать то, что творилось в тот миг в душе. Когда шла в управление, боялась, дадут ли доучиться, что будет с тобой. Теперь, по тону и поведению поняв, что беда миновала, не могла вымолвить ни слова. Боль и обида сковали сердце.

С отца и мамы клеймо сняли тоже в январе пятьдесят пятого. Почти десять лет прошло, как кончилась война, мы крепили дружбу с ГДР, бывшие немецкие военнопленные спали дома под пуховыми перинами, а советские граждане продолжали оставаться гадами и фашистами и, чтобы выехать за пределы города, должны были испрашивать разрешение у не всегда трезвого коменданта.

В начале пятьдесят пятого родители приехали в Омск и так потянулись к тебе, что мне даже завидно стало. Отец выглядел плохо: одышка, исхудал. Повела в терапевтическую клинику: ишемическая болезнь сердца. В октябре пятьдесят шестого его не стало.

Летом пятьдесят седьмого, когда диплом врача лежал под бельем в чемодане, я все еще не знала, что делать: оставаться в Омске в аспирантуре – Самарцев настаивал, но не было комнаты и мизерная стипендия – или ехать в молодой город, где обещали работу и жилье. Смерть отца решила все: на новом месте и мама могла устроиться на работу.

Из того времени ты многое уже должна помнить, потому расскажу только то, что понять не могла. А понять ты еще не могла, что труд врача, как говорил Чернышевский, действительно самый производительный, ибо придает обществу те силы, которые бы погибли без него.

Заместителем главврача больницы стала в двадцать семь лет. Ты пошла учиться. Вот только мама начала сдавать: гипертония, ревматизм.

Летом пятьдесят восьмого впервые в жизни по профсоюзной путевке поехала в Ригу. Все было, как в арбузовской «Старомодной комедии». Орган звучал целым оркестром. Самый звук его создавал впечатление неизбывной мощи. То были вариации на тему хоральной прелюдии Баха. Прекрасная мелодия реяла в вышине. Она была так проста, что хотелось немедленно ее повторить. И в то же время была так величественна, что, наверно, никто бы не отважился это сделать. Звуки неслись к куполу собора и оттуда сложно разливались по залу.

Андрей, как потом выяснилось, сидел прямо за мной. Выйдя из собора, он тоже стал ловить такси – дождь шел сильный. Сели в одну машину: санатории были рядом.

Конечно, я странная человек: годами могла жить без мужской ласки между Сашей и Андреем ведь никого не было, но вот явился он... Вы обе – ты и бабушка – перемену учуяли сразу. Ты хмурилась, дерзила. Мама вздыхала. Вечера я проводила теперь на почте – только

оттуда можно было дозвониться до Москвы, а профессор Красновский долго засиживался на работе.

Не знаю, есть ли грех на моей совести, но Андрей говорил, что семья у него не сложилась сразу. Не объединил и сын, который жил у бабушки. А не менял ничего только потому, что никого не любил, да и работа отнимала все силы. Конечно, это банальное объяснение, но, может, в этой банальности и была правда. Хотелось верить. Чувствовала – любима, и часть любви переходит на тебя. Эта полнота жизни и дала силы защитить обе диссертации – перерыв между ними был всего три года.

Сознание, что «увела» мужа от жены – хотя теперь эта жена уже давно имеет другого, живого, мужа, – мучает до сих пор. Умом понимаю: совесть чиста, но совесть – такой тайник, в котором борение добра и зла идет бесконечно. Что победит – вот важно.

Мы долго думали с Андреем, прежде чем решиться на последний шаг. И жизнь показала: узел и вправду надо было рубить. И все же... Но счастлива была с ним очень.

Девочка моя! Прости, ради Бога, прости! Раньше, много раньше должна была обо всем рассказать, ведь с сорок первого, с того проклятого дня и часа, когда выгнали, выслали нас за то, что в паспорте отца и деда стояло «немец», я не переставала думать: почему люди глотки друг другу перегрызают за одно-единственное слово: немец, еврей, армянин. Когда это началось и когда кончится? Не забуду больших, с поволокой, изучающе настороженных глаз начальника отдела кадров министерства, когда после регистрации с Андреем уже здесь, в Москве, пришла хлопотать о переводе.

– Рейсгоф – русская? – он не сказал больше ничего, но глаза... Как страшно, как безысходно, когда такая сволочь на высоком посту.

Да, Рейсгоф – нерусская фамилия. Но куда деваться тем, кто годами жизни заплатил за то, что не Иванов, Сидоров, Козлов? С чем сравнить муки бессонных ночей, когда тебе восемнадцать и не спишь ты не от болячек или любовного томления, а от одной-единственной мысли – за что?

«За что?» – точило и жгло мозг. Я скулила, как щенок, брошенный под забором, проклинала день и час, когда родилась, а начиная с пятнадцати лет не переставала думать о том, как сложилась бы моя жизнь и жизни миллионов таких же, если бы Сталин не пришел к власти. Как, как целую нацию можно заподозрить в предательстве? Ведь предатели были среди всех наций. В пятьдесят восьмом, случайно попав в Борисов и свалившись с почечной коликой, я три дня пролежала в маленькой чистой больничке. Простые белорусские женщины рассказывали, как погибали их родные, выданные своими же.

Я знала: среди немцев, живших в России со времен Екатерины, были такие, кто ждал Гитлера. Но Гитлеру радовались и некоторые русские. Если целую нацию можно заподозрить в предательстве, считая, что есть нации убийц и нации чистые, благородные, то чем же мы отличаемся от тех, кто кричал: «Немцы – превыше всего»?..

«Нет и нет!» – говорил здравый смысл. Не может быть хороших и плохих наций. Как в каждом человеке перемешаны простодушие и хитрость, гостеприимство и скупость, добро и зло, так в каждой нации есть мерзавцы и высоконравственные, убудки и гении, красавцы и уроды. Все зависит от мировоззрения человека, условий, в которых живет, воспитания, которое получил.

Я не политик и не философ, но всеми доступными человеку средствами разьясняла бы и разьясняла людям, что нация – не сгусток каких-то положительных или отрицательных качеств. Подонки, прощелыги, карьеристы, приспособленцы, пьяницы, хамы есть во всех нациях. Человек плох не потому, что принадлежит к какой-то нации, а потому, что обстоятельства, воспитание сделали его таким.

Всеми доступными человеку средствами объясняла бы и объясняла людям, что, говоря о человеке, принимая его на работу или учебу, нельзя спрашивать, кто он, подразумевая наци-

ональность. А если причины бед искать в хороших и плохих нациях – не жди справедливости. Скажи, кому нужно, чтобы в шестнадцать лет мальчик, фамилия которого Воронов, а зовут Фарид, в честь деда, погибшего на войне, решал головоломную задачу: что написать в паспорте, какую поставить национальность. А ведь таких миллионы.

Да, националистические волны и достаточно высокие, поднимаются то там, то здесь. Это так. Это правда. Но правда и то, что в стране это – всходы той пахоты, тех семян, что брошены Сталиным. И путь один, только один, если не хотим погибнуть в междоусобице: изничтожить, искоренить проклятый «пятый пункт».

Нет, нет! Я не за уничтожение наций и народов, не за нивелировку языка, культуры, обычаев. Все это, наоборот, должно шириться, расцветать, уважаться. Я только за то, чтобы люди никогда, нигде не могли сказать друг другу: «паршивый армянин», «фашист-немец», «хитрый еврей». Я только за то, чтобы мы наконец поняли: корни наши так глубоко, так крепко переплетены, что если рвать их и разбегаться, много будет крови.

Девочка моя! Прости, что говорю это только сейчас. Раньше, много раньше должна была рассказать. Только знание истины может что-то изменить. Только правда, как бы горька ни была, делает сильными. Только борясь с ложью, обретаем мужество.

1990 г.

ВЫЖИЛИ...

Здравствуйте, Мария Станиславовна!

Пишет Вам Айна Тагирова. Мы вместе лежали в хирургии военного госпиталя в девяносто втором году. Я была после операции на желчном пузыре, Вас привезли с сильным приступом панкреатита. Помните? Я этого никогда не забываю и мысленно разговариваю и разговариваю с Вами. Почему именно с Вами? Да потому что в Вас встретила человека, который мыслит так же, как я, который много перестрадал, как я.

Не давала о себе знать шестнадцать лет. Но Вы ведь знаете, что у нас творилось. Писать было, во-первых, бесполезно: письма бы не дошли. Во-вторых, небезопасно. И это письмо пишу только потому, что появилась возможность переслать с надежным человеком: хорошо знакомая женщина по своим делам едет в Москву и обещала разыскать Вас, вручить послание лично, если Вы не переменяли адреса и если живы...

Дорогая Мария Станиславовна! Хочу рассказать обо всем подробно-подробно – так, как если бы сидели друг перед другом, и я поведала бы Вам обо всем как собственной матери.

В госпиталь тогда, в девяносто втором, попала по знакомству: устроил двоюродный брат Махмуд, служивший подполковником в одной из подмосковных частей внутренних войск. Помните его красавицу-жену Лауру, что навещала меня вместе с ним? Она ведь не чеченка, а грузинка, грузинская княжна. Уже давно, с девяносто четвертого, они живут в Лондоне: Махмуд имеет свой бизнес.

Помню, как Вы называли меня тоже красавицей и говорили, что я похожа на Вашу маму в молодости, а обе мы много общего имеем с ликом Христа. Ваша мама, как знаю, еврейка, я – чеченка, но корни наши от одного древа...

Господи! Как же много всего произошло с тех пор! Сколько бед, горя, страданий, страха, слез, крови...

Не знаю, с чего начать, а потому, как говорят, начну «от печки».

Теперь стала уже старой: пятьдесят два года. От былой красоты ничего не осталось. Седая. Родилась в пятьдесят шестом – вскоре после возвращения родителей из ссылки, из Казахстана.

Новые Атаги, где родилась, – село красивое. Красива и речка Аргун, что разделяет Новые и Старые Атаги. Река полноводна, широка и быстра. Берега зеленые. Слава Аллаху, не разбомбили Атаги ни в первую, ни во вторую войну, а дома в селе – кирпичные, крепкие, большие. Саманных, какие строили раньше, почти не осталось. Мечеть – старинная, самая нарядная во всей Чечне.

За счет чего жили богато? Трудились. Совхоз был. Работали. А еще каждый имел по три-четыре коровы. Кур, овец – несчетно. Когда в девяносто четвертом началась война, во главе администрации встал местный житель Резван Умаров. Все делал, чтобы не дать людям в обиду, а потому его очень уважали. Ни в какие боевики он, конечно, не ушел, все время был в селе, но его в девяносто восьмом убили. Кто, за что – поди разберись...

Родители мои вернулись на родину в пятьдесят шестом. Незадолго перед возвращением поженились. Маме было двадцать четыре, отец – на двадцать лет старше. Он был женат еще до мамы. Жена его умерла давно, до Отечественной войны. Единственного сына взяли родные жены.

Папа был грамотным и по-русски, и по-арабски. Много что знал, а потому до переселения в Казахстан работал в администрации села, хотя в партию не вступал. В Казахстане трудился в колхозе. Мама была очень красивой. Вот он и выпросил ее у родни: родителей она рано потеряла. Гаджимурад, так звали отца, был сильным, разумным и тоже красивым мужчиной. Потому мама, Зейнар, пошла за него с охотой, хоть и был он много старше.

Кроме меня, в пятьдесят восьмом они родили брата Рустама. Очень хорошего мальчика, но глухонемого. Рустаму было четыре месяца, когда у него заболели ушки. Фельдшер перекормила его стрептоцидом. Он оглох и почти не говорил, хотя был разумен. Учиться, беденький, не мог. Остался дома. Помогал родителям по хозяйству. А теперь Рустама уже давно нет. О конце его еще расскажу.

Была я способной, училась хорошо, и родители старались не загружать хозяйскими заботами. Четыре класса окончила по-чеченски в селе, в пятый отослала к родне в Грозный, в русскую школу.

Влюбилась в русский язык, в русскую литературу сразу, книжки русские читала запоем. Потому к десятому классу, к семьдесят третьему году, была одна мечта – ехать в Ленинград и учиться русской филологии, чтобы потом преподавать ее чеченским детям.

Школу окончила с одной четверкой – по алгебре. Получила серебряную медаль и от отдела народного образования – направление на учебу в пединститут имени Герцена: как «национальный кадр».

Как же была счастлива!.. Общежитие тоже оказалось просторным, чистым. Девочки сразу приняли: говорила и писала по-русски хорошо. Год летел за годом. Летом на каникулах не могла дожидаться, когда снова окажусь в Ленинграде. Занималась истово. Закончила с «красным» дипломом и была направлена в целевую аспирантуру опять же как «национальный кадр». Тема диссертации – «Кавказ в произведениях Пушкина и Лермонтова».

На последнем курсе института произошло знакомство с Колей-Коленькой Сохниним. Всегда любила музыку, слушала по приемнику, а тут появилась возможность ходить в филармонию. Деньги родители присылали, стипендию получала. Познакомились с Колей в филармонии. Он был скрипачом, учился в Консерватории и был похож на ангела, что видела на полотнах великих мастеров. В кого такой уродился – не знаю. Родители его, когда с ними познакомилась, оказались обыкновенными людьми. Очень строгими, верующими, по-моему, староверами.

Не очень-то они обрадовались нашему знакомству. Их смущало главное: я – иноверка. Потому старалась не часто бывать в гостях – понимала: у наших отношений с Колей нет будущего.

Правду говорят писатели: любовь настоящая, красивая всеохватывающая часто приходит внезапно. Как озарение. Именно так со мной и произошло. Я полюбила руководителя своей кандидатской диссертации. Он был старше меня на двадцать девять лет. Однорукий – с войны, худой, высокий, в очках. Но нужно было видеть его лицо... Никогда – ни до, ни после – не видела более одухотворенного лица. Вы, наверно, посмеетесь, да и я теперь, когда прошло столько лет, понимаю: не был он уж таким красавцем. Но для меня никого более милого – из мужчин – больше никогда не было. Он был профессором и звали его Василием Сергеевичем Павловым.

Через месяц после нашего знакомства предложил прогуляться вдоль Невы. И теперь, через много лет, до самой малости помню тот вечер. Прогулки продолжались и когда наступила зима. Мерзли здорово и, как герои из «Старшей сестры», заходили погреться в подъезды. Но не было ничего, кроме разговоров, взглядов, улыбок. Да ничего и не могло быть, хотя чувствовала: он меня тоже полюбил. Уж не знаю, за что: за косы, что были в руку толщиной, за стройность – была высокой и худенькой, за мысли, что высказывала. Но... полюбил. Я это чувствовала.

Однако был Василий Сергеевич не свободен: взрослый сын и жена помогали ему, однорукому, жить в этом сложном мире. И я быстро поняла: не могу, не имею права нарушать покой семьи. Ничего, кроме деловых отношений, быть не может. Но даже такая любовь – запрещенная – помогла написать хорошую диссертацию и успешно защититься. Попутно, на курсах, освоить английский язык так, что потом, в Грозном, стала его преподавать наряду с русским и русской литературой.

Успешно защитившись в восемьдесят втором, благополучно отбыла в свой Грозный, где ждало место преподавателя на кафедре в пединституте. Родные и знакомые «хором» искали жениха: продвинутая невеста, кандидат наук. Но никто, конечно, не был нужен: любила и помнила только Василия Сергеевича. От знакомых в Ленинграде все про него узнавала, а в конце восемьдесят третьего пришла страшная весть: внезапно на работе умер от инфаркта. Слез ночных пролила немало...

Надо было, и правда, что-то думать об устройстве личной жизни. И однажды решила: выйду замуж за Селима – соседского парня, кончившего сельхозтехникум. Он был старше меня на два года и любил с детства. Внешне Селим был статен и пригож, умен и разворотлив, но... Не смогла, не смогла полюбить... Начались неприятности и даже скандалы. К этому моменту уже родила сына, сыночка своего Магомеда, который в три года сам себя назвал Мишей и для меня так и остался – Мишей.

В конце восемьдесят пятого сказала Селиму: не нужно дальше портить друг другу жизнь. Нужно спокойно разойтись. С сыном может встречаться, когда захочет. Вот так, Мария Станиславовна, окончилась моя семейная и женская судьба. Никаких мужчин больше не имела: у нас – в моем положении доцента университета – это абсолютно невозможно. Не спрячешься. Все тут же узнают, осудят и выгонят с работы. Потому, помните, наверно, в девяносто втором, когда лежали вдвоем в одной палате, говорила: найдите в Москве жениха. Шутила, конечно, хотя... Если бы тогда кто-нибудь подходящий взял с ребенком, пошла бы. Селим вскоре после развода женился, быстренько родил троих детей и жил припеваючи. О сыне Магомед-Мише ни разу не вспомнил.

Сейчас живем вдвоем с сыночком. Он не женат. Ну да ладно. Я перескочила, а нужно все по порядку.

Что спасало, когда осталась одна? Во-первых, ребенок, во-вторых, отец, мама, брат, а главное – работа. Ее любила и отдавала всю душу. Совершенствовалась в английском, один раз даже в Питер ездила на сборы преподавателей английского языка, завидовала тем, кто уже побывал в Англии и усовершенствовал произношение. В общем, жизнь потихоньку текла, сынок радовал, а тучи над людьми, над родиной сгустились, и виноваты были в этом – так считаю! – мы, чеченцы. Хотя Москве тоже не лишне было бы подумать...

Спросите, что происходило? Отвечу: вытеснение русских. Об этом говорила Вам в девяносто втором. Шло развитие ксенофобии, а попросту – национализма.

Ксенофобия – закон психозоологический, и первобытный человек унаследовал его, то есть страх перед чужими, от животных. Прошли тысячелетия, а древний ксенофобический инстинкт не исчез. Наоборот, набирает и набирает силы. В истоках ксенофобии, или национализма, просматривается архаическая психологическая структура, резкое различие между «чужими» и «своими», между «они» и «мы». Национализм начинается там и тогда, где и когда сознание своей особенности превращается во враждебную психологическую установку, которая усиливает ненависть к чужому, нетерпимость. Собственный же народ без особого на то основания наделяется всеми возможными достоинствами.

Между национальными и националистическими проявлениями очень тонкая подвижная грань. Ее трудно уловить. И не случайно, так называемые, «патриоты» начинают заморачивать головы людей всевозможными националистическими лозунгами. Именно это и произошло на моей родине. Не стыжусь говорить об этом прямо. Но говорю лишь Вам, а не в своем университете, конечно. Хотя так, как я, думают многие. Молчат. Боятся...

Короче, русские, особенно интеллигенция, стали быстро, как говорится, сматываться. А нашим, то есть чеченцам, и не к чему было подумать: что же будет дальше. Амбиции ново-явленных «ученых», начальников и прочих росли и уже переливали через край. И край этот наступил... Если бы Москва все это вовремя отследила, нашла бы верные ходы, компромиссы. Если бы...

Мне не нужно Вам объяснять и рассказывать, что началось при Дудаеве. Думающие люди это знают. Но... Почему нужно было «усмирять» нас одним полком. Почему нужно было превращать Грозный в Сталинград?

Господи! Мария Станиславовна, если бы Вы видели город после бомбежек, если бы Вы знали, сколько было убито ни в чем не повинных людей!.. Море, море крови... И этого чеченцы, конечно, никогда не забудут.

Мы с Мишей остались живы только благодаря Новым Атагам, хотя в нашу пятиэтажку в Грозном бомба не попала. Всякая работа, занятия – все прекратилось. Взяли из квартиры, что могли унести на себе. Все остальное, когда вернулись, было разграблено.

Дорогая Мария Станиславовна! Думаю, в природе человека есть три причины возникновения войн: соперничество, недоверие и жажда власти. Все они имели место, когда начались события девяносто четвертого года. Не должна была, не должна была Москва шаблонно подходить к Чечне. Ведь знали же, знали, как были обижены чеченцы еще в сорок четвертом, оскорблены депортацией, тем, что миллионы единоверцев погибли в Сибири.

Забыли, что чеченцы как нация – не мирные люди, воинственные. Это известно с тех далеких времен, когда русские явились «цивилизовать» Кавказ, а попросту – покорять. Плохо у них выходило: много русских голов тогда полегло. Забыли, что народ, защищающий свою землю, непобедим. Все забыли.

Иногда говорят: у чеченцев ненависть к русским на генетическом уровне. Неверно это. Любая нация, любой человек, кроме материальной выгоды, хочет и уважения. А политика Москвы в Чечне была построена на принципе «разделяй и властвуй». Всегда двойные стандарты.

Конечно, многие понимали и понимают, что экономически без России республика не проживет, но обида за пепелища, за поруганные честь и достоинство тоже сильны. Это надо знать.

А война, полномасштабная, началась еще и из-за зависти. Чеченцы до войны жили лучше, чем люди в целом в России. Потому что трудились, не пьянствовали. Земля – благодатная. Воткни палку – растет дерево. Те же, кто был в России наверху, решили: ага, сволочи, и так хорошо устроились. Хотите лучше. Не будет!.. Оттого с таким остервенением бомбили. Зависть – великий двигатель истории...

Мы с Магомедом-Мишей ушли из квартиры еще во время первых бомбежек. А ведь были те, которым некуда было уйти, и они оставались в городе. В Москве бродячие собаки жили лучше, чем эти люди. Город был абсолютно непригоден для жителя. После первой войны было много разбомбленных домов, а после второй Грозный превратился просто в груды бетона, камней и кирпича. Не было ни воды, ни света, ни тепла. Газ – на улице в факеле. Факелы горели все время. В больших магистральных трубах делали отводы поменьше и присоединяли их к газовым плитам – у кого они оставались. Так кипятили воду, готовили еду. Воду брали в реке – возили на самодельных тележках: опять же, если они были. Помыться, постирать – огромная проблема. В туалет ходили где и как попало. Грязь и антисанитария кошмарные. Обогревались буржуйками. Дров не было. Ломали все, что было деревянного. А ехать в лес невозможно – убьют или на mine подорвешься.

Мины-ловушки ставили везде. Все валили на чеченцев. А народ говорил: кто ставит – тут еще подумать надо... Зачем чеченцам взрывать на базаре мирных чеченских теток? Какой смысл? Да, у нас есть тейповая вражда, но чтобы просто так взрывать своих же – это уж не по нашим правилам, это уж извините...

Нас с Мишей спасли только Атаги. Мы бросили в своей однокомнатной все, кроме документов, фотографий и моих немногих золотых украшений. Вы знаете, чеченцы любят золото. У меня и у мамы были золотые украшения, которые тут же закопали в саду: сложили в две жестяные коробки, вставив одну в другую.

Уже сказала, что в Атагах был кирпичный добротный дом. Отец своими руками все обустроивал. Были три коровы, три овцы и куры. Сад и огород большие. Когда не стали продавать хлеб, мама у кого-то меняла наши сыр и масло на муку. Так что не голодали до...

Они приехали на БТРе неожиданно, под вечер. Они – федералы-контрактники. Полупьяные и под наркотиками. Потребовали, чтобы вывели коров и овец. Вояк было четверо. Рустам, глухонемой брат, когда понял, в чем дело, бросился на защиту животных. Тут же был прошит автоматной очередью. Упал замертво. Найдя во дворе веревки, привязали скот к БТРу и медленно уехали. Как-будто напиться заезжали... Так не стало нашего Рустама – доброго человека, работника, каких свет не видывал... Мама стенала и плакала, не переставая. Первая беда, первое горе пришло в дом. Теперь, как только на улице слышался звук БТРа, мама прятала нас с сыном в подполье. Не в подвал, а в подполье, вход в которое был незаметно устроен в кухне.

Для нас четверых наступил голод. На муку менять было нечего, запасы масла и сыра быстро кончились. Питались горсточкой сухофруктов и кипятком, заваренным травами. На восьмилетнего Магомеда-Мишу нельзя было смотреть. Он не просил есть, но я знала: он голоден, очень голоден. И тогда мама решилась. Взяв из закопанной банки несколько золотых вещей, пошла в Грозный. Хотела продать и купить хоть немного муки. Возвращалась обратно автобусом домой, в Атаги, когда стали стрелять. Два самолета летали низко-низко, кружили прямо над автобусом. А дорога открытая, безлесная, только кусты вдоль обочины. Автобус остановился. Пассажиры бросились в кусты. Самолеты покрутились и улетели. Люди вернулись в автобус и поехали дальше. И тут опять, откуда ни возьмись, эти два самолета. Начался новый обстрел. Автобус встал: попали в мотор. Пассажиры все до одного погибли. В живых остался только водитель: отделался ранением. Он-то и рассказал о налете. А еще там были люди – неподалеку, на склоне. Они тоже все видели. Когда самолеты улетели, эти люди побежали к автобусу, стали вытаскивать убитых, искать у них документы. У мамы была какая-то справка, где было сказано, что она Тагирова. Кто-то сказал: «Я знаю Тагировых, – и назвал наше село. – Это их женщина».

Маму привезли домой. Мне казалось, она еще теплая. Пуля вошла в лоб и вышла через затылок. Смерть наступила мгновенно. Мама всегда просила у Аллаха быстрой смерти. Вот и получила. Ей было шестьдесят лет.

Так погибла от русской пули моя мамочка, а ведь семилетней девочкой, в сорок втором, спасала, лечила, выхаживала русских солдат, что были в партизанах и воевали против немцев из отряда «Эдельвейс». Собирала травы и отваром поила бредивших раненых. Доила спрятанную в лесу корову и, сама голодная, выпаивала этим молоком солдат, приносила из села какую-нибудь еду. И за все это – пуля в лоб...

Случилось это осенью девяносто пятого. Отец, старше ее на двадцать лет, очень ее любивший, совсем сдал: плакал без конца и в начале девяносто шестого умер. Мы с сыночком остались одни.

Как прожили все страшные годы – не знаю. Заслышав звуки БТРов, прятала ребенка в подполье, а сама решила: будь что будет. Попыток пробраться в город, в Грозный, не делала: очень боялась оставлять сына одного. Золотые вещи понемногу отдавала женщине-соседке: она иногда привозила какую-то еду. Летом было легче: огород, сад.

Мария Станиславовна! Дорогая! Война – это страшно. Очень страшно. И виноваты в войне только ваша и наша верхушка. Войны начинаются в тиши кабинетов. И всегда в интересах людей, которые командуют. Люди очень боялись пришедших российских солдат, которые должны были устанавливать «конституционный порядок». Им, простым обывателям, было непонятно, что это будет за порядок и зачем при этом бомбить. А еще – российские солдаты и офицеры почти всегда были пьяны. А какой спрос с пьяного? Когда воевали в Афганистане, официально в армии был введен сухой закон. Но все равно напивались. Об этом рассказывали

ребята, бывшие в Афгане. В Чечне же во время войны водки было – залейся. Пили все – даже журналисты и телевизионщики. Пили от тоски, от того, что война была несправедливой.

Зная историю, могу сказать, что ментальность нашего, чеченского, народа в тот момент была схожа с ментальностью русского мужика в Гражданскую войну. Тогда в России главным было: уничтожить, разгромить, а если что лежит плохо, так и украсть. Чеченские мужики тоже превратились в сущих бездельников. Работать руками было не их дело. Только процентов десять из них были настроены на труд. А ведь наш край благодатный!.. Плюс нефть. В лучшие годы до трех миллионов тонн в год добывали. Но начали заниматься «врезками» в главной трубе, красть так, что каждую ночь КамАЗы уходили в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию. Такого количества прохиндеев в республике никогда не было. Из Чечни произошел исход.

Уехали все русские специалисты, как правило, порядочные люди. Уехала чеченская интеллигенция – кому было куда. Если перед войной в Грозном было четыреста пятьдесят тысяч жителей, то теперь город превратился в полумертвый. Причем наши прохиндеи быстро спелись с русскими проходимцами. Получалась «прекрасная» тесная смычка.

Не должен, не должен был Ельцин, зная наши устои и правила, начинать войну. Не захотели российские правители этого понять. Россиянин, пришедший на нашу землю с оружием, становился врагом. Это – в крови чеченца. Это – выше всякого здравого смысла.

А Москве было наплевать на чеченское общество, на то, во что оно превратилось. А превратилось оно тогда в сборище озлобленных бандитов, готовых под выкрики «Аллах акбар!» творить все самое дурное, на что нацелит полевой командир. Наверно, процентов семьдесят мужиков не держали тогда в руках рабочего инструмента. Автомат, только автомат... Озлобленное молодое быдло было абсолютно безграмотно, ничему не обучено, не имело никаких интересов, кроме самых низменных. А еще старики бесконечным поминанием своих обид, которые им были нанесены в сороковые, рождали в молодых ненависть. И женщины, которых мужики заставляли молчать. Но разъяренные старые фурии не очень-то кого-то слушались. И они тоже были виноваты в том, во что превратилась молодежь.

Все негативное в чеченском обществе – от общеизвестных грехов: зависти, злобы, национального неприятия других. Именно от зависти человек становится вором и лжецом. История учит: все войны, революции бывают от зависти. А злоба – это сатана, который превращает людей в диких зверей. У нас много злых. Нос задирая, рассуждают: чеченский народ – самый смелый, самый умный, самый хитрый. И посадили на герб волка. Вот он и лязгает зубами. А чем гордиться? Ведь произошел исход самых лучших. Некому стало лечить и учить, некому возродить хозяйство. Кто не захотел продавать душу дьяволу, кому было куда уехать – уехали, не желая превращаться в убийц и взяточников. Правде надо смотреть в глаза.

Бомбили Грозный тогда со страшной силой. Воюющие солдаты и офицеры смертельно ненавидели боевиков, которых было много, очень много. Где-то читала – двадцать две тысячи. Но кто их считал!.. Однако в боевиках были не только чеченцы. Чеченцев, может, только треть. Основная масса – наемники. Уголовники всех национальностей. Все началось при Дудаеве. Мы тогда четко заметили: стали появляться бандиты со всего Советского Союза и даже со всего мира. Им было нужно скрыться от чего-то, от кого-то. Вот и явились в Чечню. Возглавили это отребье, конечно, известные всем чеченцы. Хотя тот же Хоттаб не был чеченцем. А ведь валят все теперь на нашу нацию. Конечно, понятно: война шла на нашей земле...

Но в боевики никого силой не загоняли. Мои двоюродные братья, инженеры-нефтяники, не пошли, смогли отвертеться. А многие за деньги шли хоть к черту на рога.

Военных, которые воевали в Чечне, разделила бы на две половины. Одно дело – солдаты-срочники. Хилые, тощие, они были очень запуганы. Они были детьми бедных родителей. Богатые ведь своих детей отмазывали. Эти же мальчишки сочувствовали нам, простым людям. Если надвигалась опасность, всегда предупреждали, не ругались, не насильничали. И нам было

их жаль: прислали погибать, неизвестно за что. А смерть – она была тут, рядом... Эти ребята все время под смертью ходили. Наши их очень жалели: подкармливали, давали умыться.

А вот контрактники – почти все сволочи. Пьяные, обкуренные, они приставали к нашим чеченским ребятам, требуя зелье. И внешне – сытые, здоровенные. Деньги у всех водились. Все – взяточники. Очень обижали срочников. Ноги об них, как о половую тряпку, вытирали. Устраивали перестрелки, а потом все сваливали на чеченцев. Они и убили брата Рустама.

От зверств, Мария Станиславовна, нельзя было нигде спрятаться: даже дома. Чувство, что тебя вот-вот могут убить – страшное, изнурительное. В таком состоянии невыносимо жить; если же рядом малые дети – совсем невозможно.

Конечно, все, все от Дудаева пошло: он ведь не жил у нас, и жена его – русская. А еще – нефть. Власти советские очень наживались на ней. Гнали и гнали составы в разные стороны. Дудаев сказал, что деньги от этой нефти должны идти в наш, чеченский, карман. Ему поверили, за ним пошли. Только те, что пошли, остались в дураках. Без работы, без средств к существованию. А семьи надо кормить. Вот и подались в бандиты. Нормальные в прошлом парни стали превращаться в разбойников. Погибали тысячами.

А еще – ваххабиты. Эти уж сволочи, каких свет не видывал!.. Неужели я, нормальная чеченка, надену паранджу?! Да пусть они застрелятся! Верю в Аллаха, молюсь ему, но всякую дурость исполнять – извините... Кто, откуда спустил на нашу голову этих фанатиков – поди разберись. Не было у нас раньше никаких ваххабитов. Все это опять стало кому-то очень нужно.

У нас их не так уж много – больше в Дагестане. Появились в первой трети XVIII века в Саудовской Аравии и стали так называться по имени Мухаммеда Воххаба, призывавшего возвращаться к истокам, то есть к той форме ислама, какая существовала при пророке Мухаммеде. Ваххабиты с крайней ненавистью относятся ко всем, кто не разделяет их идеи. А в Дагестане даже появилась книжка некоего Тугаева «Повстанческая армия ислама». Автор прямо призывает к строительству исламского государства на Северном Кавказе, к изгнанию и уничтожению всех иноверцев на Кавказе. Книжка – сволочная, злобная, но она гуляет по всей территории. Здравомыслящие люди ее не принимают, но головы людские дерьмом забиваются.

Я – сторонница и последовательница традиционного ислама. Это не воинствующая религия. В основе слова «ислам» лежит корень «мир». Любая встреча людей начинается со слов «Иссалям алейкум» – «Мир всем». Ислам проповедует терпимость к христианам и иудеям. Ислам миролюбив, а вот экстремисты, прикрывающиеся исламом, – бандиты. Поэтому не следует говорить «исламист». Это слово часто произносят с негативным смыслом, и это обидно людям, исповедующим ислам. Истинный ислам учит: нельзя посягать на жизнь, данную Богом. А ваххабиты называют нас, традиционалистов, неверными. Раз неверный – значит, можно убить. Конечно, убийства совершают не только ваххабиты, теперь убить в Чечне – что раз плюнуть. И это оттого, что люди погрязли во лжи и пороке, безнравственности и жестокости. Ваххабиты вообще зациклены на джихаде, а ведь из Корана известно, что, когда пророк Мухаммед вернулся с кровопролитной бойни, он своим сподвижникам сказал: «Мы вели джихад оружием. Это плохо. Теперь должны вести джихад словом против собственного невежества, против низких проявлений души. Это – путь очень длинный, но его надо пройти».

Многие наши известные чеченцы отрицали и отрицают всякий джихад, сравнивая его с безумием. Но таких немного. Они либо убиты, либо уехали, либо бежали...

За всю новейшую историю Россия, наверно, не получала столько вызовов, как за время, начиная с девяносто четвертого года. Ничего само собой не образуется. Весь Северный Кавказ, и особенно Чечня, должен сейчас ответить на вопрос, какова его судьба вне России. Легко убежать. Но если убежишь, что дальше? Возможности народа, уходящего в самостоятельное плавание, очень сужаются. И чеченцы давно должны понять: пора смирить свою непомерно разросшуюся гордыню. Пора забыть вековые распри. Пора начинать новую жизнь, основанную

на уважении и взаимных интересах. Нужно кооперироваться, нужно дружить. А с кем, как не с Россией? Но и для России мы должны перестать быть «черномазыми»...

И наше, и российское общество стали бесчувственными. Все не умеют, а главное, не хотят раскаяться. Это плохо. Раскаяние – чувство более глубокое, чем покаяние. Оно не проходит бесследно. Оно воспитывает. Нужна гармония. Нашей главной идеей должно стать стремление к гармоничному миру. Совершенно столько дисгармонических деяний, что мы находимся на краю пропасти.

Дорогая Мария Станиславовна! Простите, что так пространно пишу. Но хочется сказать обо всем, о чем думаю бессонными ночами. Мы вернулись в Грозный в сентябре две тысячи второго года. Дом не разбомбили, но квартира представляла собой полностью изуродованное помещение. Все, что можно было унести и выломать, было унесено и выломано. Следовало начинать в полном смысле с нуля. Атагинский дом, тоже весь разграбленный контрактниками-федералами, заперла и попросила соседку приглядывать – чтобы не сожгли. А возвращаться нужно было: кончились мои «золотые запасы». Магомеду-Мише было уже шестнадцать, а официально у него считались оконченными только три класса, хотя программу восьми классов я с ним прошла по учебникам, что насобирали в Атагах. Мальчик он очень способный, особенно любит историю и бесконечно читает – все, что попадает в поле его зрения. Читал, конечно, бессистемно – книг не было. Но теперь уже кончает исторический факультет университета и разбирается в истории так, как мне и не снилось. Что плохо – совсем «посадил» глаза. Недавно через наш магазин «Оптика» прислали ему из Питера две пары очков: минут семь диоптрий. Специально писала письмо в Питерский облздравотдел.

Наша однокомнатная обитель сейчас для жизни пригодна. Есть диван, кровать, стол и шкаф, книжные полки. Сплю за занавеской. Кухонный быт тоже как-то обустроен. Газ горит исправно. Есть газовая колонка. Можно помыться и постирать. Застеклили балкончик – еще одно подсобное помещение. Живем вполне цивилизованно. От университета совсем близко. Магомед-Миша получает маленькую стипендию, я набрала часов – сколько смогла «унести». Преподаю русский и английский языки, русскую литературу. Все книги, все конспекты пропали. Пришлось начинать сызнова. Но это не так уж страшно и даже в чем-то интересно. К литературным источникам теперь подхожу совсем по-другому.

На еду и какую-то недорогую одежду хватает, в долги не залезаем. Стараемся укладываться в бюджет.

Больше всего меня, конечно, беспокоит судьба сына. Ему сейчас двадцать два. Высокий, красивый юноша. Даже очки не портят. Только сутулый от бесконечного чтения. Разумный, знающий. Но людей знает плохо, девушек, по-моему, побаивается. Как будет жить в этом страшном мире – не знаю. Завести свою семью пока не может: некуда привести. В Атагах – дом, но там жить – где работать? Его, наверно, оставят ассистентом, а потом и преподавателем в университете. Короче – проблемы, проблемы, проблемы... Да и не знаю, какая девица польстится на его университетскую карьеру. Теперь девушки и их родители интересуются только денежными мешками.

Моя личная жизнь, как уже сказала, равна нулю и никаких изменений, конечно, не предвидится. Кому нужна пятидесятидвулетняя женщина, скудно зарабатывающая, обремененная сыном? Всем нужны богатые. Рецепта стать богатой – не знаю. Живем только на зарплату и стипендию. Взятки не беру.

Часто можно слышать: чеченские террористы. Это тоже обидно, Мария Станиславовна. Терроризм в России имеет глубокие корни. Возник не в связи с чеченской войной. С чеченской войной наиболее выпукло выявился. Терроризм в стране связан с существующими социальными, экономическими и духовными противоречиями. И разгулялся так потому, что сорняк растет там, где за землей не ухаживают. В стране коррупция, чиновники – воры. Об этом каждый день талдычат по телевизору. Идет бесконечная эскалация насилия.

И неправда, что при Сталине не было террора. А миллионы сгноенных им в лагерях и тюрьмах? Это разве не государственный терроризм? У нас на Кавказе шла настоящая война между ингушами и хевсурами. Кто знал? Молчали. Все было шито-крыто. Сор из избы не выносили. А ведь всякий «другой» должен видеть свое будущее в стране, где живет, должен иметь право жить без страха и работать. Если нет будущего для «другого», нет будущего и для тебя, «любимого»...

И не ислам, не Коран виноваты. Они не призывают убивать. Даже не изощренный в богословских тонкостях человек знает, что между исламом, христианством и иудаизмом много общего, ибо Бог един, и на Страшном суде именно он будет судить народы. Поэтому надо вести прямой богословский и политический диалог и искать, искать компромиссы.

Когда шли события в Москве на Дубровке, не сомкнула глаз и только молила Аллаха, чтобы не позволил взорвать им, террористам, театр. В этот момент у меня даже сами собой написались стихи:

Чеченцы, слушайте, что ж вы творите!
Вам мало вдовьих слез в самой Чечне?
Сирот вам мало? Или вы хотите,
Чтоб весь народ иссяк в войне?
Нельзя построить мир ножом и толлом
За счет беды невинных москвичей.
Москва для многих наших стала домом,
А что в ответ? Десятки их смертей!
Нет, вы неправы, сотни раз неправы!
Ответ бесчинству должен быть иной.
Не принесет ни чести вам, ни славы
Столь дикий способ. Должен быть иной...

Всегда считала: чеченцы сами должны разобраться со своими отморожками. У нас много вредного, наносного: кровная месть, не очень деликатное отношение к женщине, ссоры между кланами. И дурацкая гордыня, не приносящая ничего хорошего.

Суть чечено-российской трагедии, начавшейся не вчера, а еще почти триста лет назад, в том, что Россия, обреченная на завоевание Кавказа, – при всей экономической нецелесообразности этой акции, – не хотела считаться с менталитетом маленького народа. Не желала подумать, как этот менталитет направить к своей выгоде. Другая же сторона – чеченская – самонадеянно полагала: так, как мы живем, только так и следует жить. Перемены времени нас не должны касаться. И вот теперь мы, потомки, должны развязывать узлы, что были завязаны столько лет назад...

Все это Москва должна была знать и учитывать, строя с чеченцами свою политику. Отношения надо было выстаивать так, чтобы «неподдающиеся» захотели жить в мире и согласии, и, надо сказать, перед Отечественной войной это в основном удалось. Если бы не было событий сорок четвертого года, думаю, не было и того горя, что пришло теперь.

А еще Москва должна была учитывать, что чеченцы не будут жить по тому принципу, что живут русские: стерпится – слюбится. Русский народ – многострадальный. Наделен таким терпением, какого нет на белом свете. Чеченец терпит плохо. Чеченец будет искать свой интерес, свою правду. Вот и вышло то, что вышло... А теперь, когда так бомбили, так убивали, так унизили, люди будут искать справедливость, как сами ее понимают. И это тоже надо знать, когда имеют дело с чеченцами.

Дорогая Мария Станиславовна! Почему пишу все это Вам? Да больше никому не могу всего этого сказать. На родине меня не поймут, осудят да еще какие-нибудь санкции приме-

нят. И такое тоже может быть. Вы – человек многострадальный и интеллигентный. Вас тоже коснулся сталинский молох. Вы должны меня понять.

Господи! Как хочу, чтобы Вы были живы и здоровы, и это письмо дошло бы до Вас!.. А мы выжили, выжили... Живем.

Когда-то на заре человечества одно из племен, вопреки Божественному определению, в союзе с другими племенами начало строить большой город, а при нем высокую башню, которая должна была стать общим для всех центром и в то же время знаком их равенства. Но строители вместо камней стали использовать кирпичи из глины, а вместо извести употреблять земляную смолу. За это Господь покарал их, смешав языки так, что они стали не в состоянии понимать друг друга и разошлись по разным странам, отчего произошли разные народы, говорящие на своих языках. Город этот назывался Вавилоном, а башня Вавилонской.

Вот так и мы, дорогая Мария Станиславовна, не послушав нашего Бога, Аллаха, Христа – называй, как хочешь, – мечемся, мечемся в поисках правды, истины, добра, справедливости и не можем найти.

Найдем ли?..

2009 г.

ОЧИЩЕНИЕ

Хотите, чтобы о себе рассказал? Что может быть интересного в старом больном человеке? Ну если хотите – пожалуйста. Включайте свою «адскую машинку». Никогда в жизни не давал интервью. Как говорили древние иудеи, воспоминания ведут к избавлению...

Родился в мае двадцатого года в маленьком белорусском городке Рогачев. Знаете, что представляла собой Белоруссия в мае двадцатого? О! Это был ужас: шла Гражданская война. Банды Булак-Булаховича, одного из руководителей контрреволюции на северо-западе России, белого генерала, разгуливали вовсю и особенно доставалось евреям – их вырезали нещадно.

Родился в Рогачеве, а воспитывался и рос в Орше: здесь жила мамина мама бабушка. Бабушка и дед с материнской стороны были революционерами со стажем: бабушка – постольку-поскольку, а вот дед был эсером. Кто такие эсеры? Это – социалисты-революционеры. Партия их существовала недолго: с первого по двадцать третий год прошлого века. После Гражданской войны партия распалась. Выражала она интересы мелкой городской и сельской буржуазии. Основные требования – демократические свободы, рабочее законодательство, социализация земли. Главное тактическое средство – индивидуальный террор.

Нет, уверен, теракты дед не совершал. Точно не совершал, потому что, как говорила бабушка, и мухи не мог обидеть. А вот листовки распространял, и жандармы не раз к ним приходили. Листовки прятали в колыбельках детей: туда жандармы не лезли.

Когда дед связался с эсерами, совсем перестал работать, а ведь был хорошим сапожником. Все содержание семьи легло на бабуку. Семья же – семь человек. За небольшой срок супружества родили пятерых девчонок. В восьмом году, когда по заданию партии дед ездил в Екатеринослав, сильно простудился. Заболел и умер от скоротечной чахотки в возрасте Христа. Бабушка осталась двадцативосьмилетней с пятью детьми, но... при иголке. Была перво-классной портнихой, обшивала весь оршанский бомонд. А бомонд состоял из жен машинистов: семья жила на станции Орша. Самыми высокооплачиваемыми жителями были машинисты. В машинисты брали только русских и поляков.

Наверно, от деда бабушка выучила «Варшавянку» и, помню, в году двадцать четвертом – двадцать пятом, работая, тихо напевала:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

А в припеве:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ! —

повышала голос. Потом, будто опомнившись, замолкала и говорила сама себе: «Тише, тише...» Но тут же вспоминала, что уже можно не таиться, потому как произошла революция и кончилась Гражданская война, и такие песни можно петь.

Бабушка дожила до тридцать седьмого года и умерла в страшных муках: ее душила бронхиальная астма. Никаких лекарств от астмы в то время не было.

Со стороны отца дед и бабушка были обычными обывателями: дед столярничал, бабушка управлялась по хозяйству. Она могла не работать на людей: дед был прекрасным краснодеревщиком.

После смерти отца-революционера мою маму, старшую из пятерых сестер, еврейская община послала учиться. Мама даже пять классов гимназии окончила и была очень грамотной. Без всякого продолжения образования работала корректором в газетах. Работу свою любила. Замуж за отца вышла в девятнадцатом. Было ей всего семнадцать. Через год родился я.

Отец мой, хоть и был сыном обывателей, в сентябре семнадцатого вступил в белорусскую социал-демократическую рабочую партию: время было такое. Был молод, неглуп, очень способный: шестизначное число на шестизначное множил в уме, а окончил всего четыре класса приходской школы. Был даже депутатом первого съезда Советов рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских депутатов Белоруссии, который состоялся в девятнадцатом году. Но в партии «продержался» недолго, потому как не терпел неправды, подхалимства и, как теперь говорят, двойных стандартов. Маму высмотрел, когда было ей пятнадцать. Два года ждал, пока не стукнуло семнадцать, и посватался. Бабушка, мать мамы, хоть и была «революционеркой», но заявила: без венца дочь не отдам. Как член партии, отец не имел права венчаться и стал просить партийное начальство об исключении: знал, многие так поступали. Но не пошли ему на уступки, и он, плюнув, положил на стол партбилет. Уже потом, много лет спустя, в тридцатые годы, когда я стал подростком, говорил – конечно, так, чтобы никто не слышал, – что рад, что «расчихался с этой сворой». К партии, ее боссам не испытывал никакого пиетета.

В школу я пошел уже в Бобруйске: отцу предложили работу на мебельной фабрике. Мама стала корректором в типографии. Шел двадцать восьмой год. Маленькой сестренке исполнилось четыре. Она ходила в детский сад.

Учился поначалу слабо: был левшой, как и предки-столяры. Первая учительница Юлия Яковлевна заставляла писать правой рукой, но я упорно перекладывал ручку в левую. Получалось плохо. Однако уже в четвертом классе стал отличником – здесь надо было соображать, а мыслил, видимо, нормально.

Запомнился случай, когда в шестом классе решил задачку, которую не смогла разобрать учительница – запуталась. Не задумываясь о последствиях, вышел к доске, стер ее решение и записал свое. Педсоветом был исключен из школы и переведен в другую.

Как и все, носил пионерский галстук, но никакого интереса к пионерской работе не испытывал. Мне было интересно решать задачки, играть в шахматы, читать книги. Главное – задачки. Никаких олимпиад в Бобруйске в то время не проводили, а то бы, наверно, выигрывал. Когда пришло время, записался в комсомол, но именно записался. Честно скажу: от всяких казавшихся ненужными поручений отлынивал, а уж когда в девятом-десятом классе математику стал вести Семен Ильич – он меня сразу отметил, – грыз науку по-настоящему и далеко опередил своих одноклассников. Семен Ильич принес мне учебники и задачки по высшей математике.

Конечно, путь мой лежал в ленинградский университет. Так говорил Семен Ильич, но комсорг класса – русский парень, добрый, хороший – однажды, отозвав в сторонку, сказал: «Яшка, в университет тебя не пустят, не суйся. Иди лучше в политех». Когда в ответ наивно спросил, почему, комсорг ответил: еврей... Было это в тридцать восьмом.

Летом после девятого класса ко мне пришла любовь. До того ни я на девчонок, ни они на меня никакого внимания не обращали. А тут пошли на Березину купаться. И я увидел ее в купальнике. Ее – Яну Поплавскую, девочку, что пришла в наш класс в девятом. Сердце замерло: у нее были необычайно стройные ноги и бело-розовая мраморная кожа. Густые черные прямые волосы ложились на лоб челочкой и обрамляли лицо с прямым маленьким носом. Глаза – большие, небесно-голубые – будто заглядывали в душу. Теперь мысли мои были не о задачках. Теперь до бесконечности хотелось смотреть на Яну, быть рядом с нею.

Яна не противилась моим разговорам. Может, и неинтересно ей было то, о чем рассказывал, но виду не подавала – терпела. Выпускной бал весной тридцать восьмого пролетел, как мгновение. Я не танцевал, и Яна, конечно же умевшая танцевать, предпочла разговоры со мной в пустом классе, хотя рядом в зале гремела музыка. Мы договорились, что в июле вместе поедем в Ленинград: она – в медицинский, я – в политех. Третьим с нами должен был ехать Семка Геллер – мой извечный друг и товарищ.

Как отличник, в политех был принят без экзаменов, а Яне и Семке пришлось попыхтеть. Но экзамены они едали хорошо и тоже стали студентами. Хоть и было не всегда сытно, но счастьем нашему не было границ: из захолустного Бобруйска попали в град Петров с его музеями, мостами, белыми ночами... Общежитием были обеспечены.

Я продолжал отлично учиться, мне даже сталинская стипендия грозила – была такая самая высшая стипендия, – но... на зимней сессии сорокового года преподаватель – антисемит – вкатил тройку по основам марксизма-ленинизма, который был тогда наиглавнейшей наукой. Все его постулаты знал назубок – память была хорошая, но по одному из положений вступил в полемику. В результате – тройка. С тройками стипендию не давали. Просить деньги у родителей не мог: они и так каждый месяц присылали посылки с домашними гостинцами. В результате пришлось перейти в ленинградский институт гражданского воздушного флота, где стипендию платили независимо от оценок.

Болезненно переживал переход, очень болезненно, однако благодаря ему остался жив. Все сокурсники по политехническому с началом войны попали в народное ополчение и погибли.

Теперь, прежде чем продолжить рассказ, хочу спросить: могу ли высказать то, о чем думаю всю жизнь? Если могу – слушайте.

Начиная с тридцать восьмого, когда хороший улыбчивый парень – комсорг – сказал, чтобы не совался в университет, и я действительно не сунулся, никак не мог и не могу понять, почему так не любят евреев? Даже ненавидят. Почему антисемитизм? Не надо, не надо говорить, что проявляют себя так не все. Конечно, не все. Если бы все ненавидели евреев, жить было бы невозможно. Но почему все-таки ненавидят? Продуктивен ли антисемитизм для тех, кто ненавидит? Простите, если стану говорить общеизвестные истины.

Христос, сам еврей, явившись из своего народа, был этим народом отвергнут. Почему? Да потому что не захотел стать земным царем. Он явился не как царь, а как простой человек. И умер на кресте, чтобы уничтожить зло на Земле. Евреи тогда этого не поняли, не подумали о свободе духа и были жестоко наказаны. Но свою вину искупили сполна.

Апостол Павел, величайший учитель христианства, тоже был евреем. Свое благовестие обосновал Ветхим Заветом и проповедовал того же Бога, который открылся его праотцу Аврааму. Павел, пошедший вслед за Христом, принявший его веру, говорил, что нет ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. То есть для Бога все драгоценны. Это не всегда было понятно людям, а потому вызывало раздражение. И теперь, когда поносят евреев, заявляя, что все жида – сволочи, поносят тем самым и Христа, и его мать Деву Марию, которая тоже была иудейкой.

Скажите, что хорошее получает от этого народ, люди, которые это делают? Какова продуктивность поношения евреев?

Но это древности. А вот в конце восемнадцатого века на западной территории России, что досталась ей в результате раздела Польши, оказалось семьсот тысяч евреев. Этим людям, а жили они почти все в маленьких местечках, надо было как-то существовать. Земли не давали, а потому они могли заниматься только ремеслом и торговлей, вынуждены были, обязаны были приспособляться к тем, кто был их «хозяином» – своей-то государственности не имели. В поведении, образе жизни должны были идти на бесконечные компромиссы. Но народ был неглуп, а совсем даже наоборот, и потому некоторые – конечно, очень немногие – выбивались

из обычной местечковой среды, даже выезжали за «черту оседлости». Была такая черта, за пределами которой евреям жить не позволялось. Русские цари по-разному относились к евреям. Если при Александре II среди евреев даже появились купцы первой гильдии и лица со средним и высшим образованием, то при Александре III начались такие частые вспышки антисемитизма, и зараза эта так быстро распространилась среди российского общества, что евреям стало совсем невмоготу. Именно в евреях начали искать причину непорядков, творящихся в стране, потому что на Руси так уж испокон веков ведется, что виноват во всем кто-то. Сами – непорочны. Скажите, какая от этого была польза русскому обществу? Русскому крестьянину, рабочему?

При Николае II совсем уж распоясались. Черносотенцы, которые считали себя «истинно русскими», потребовали от царя, чтобы евреям было запрещено все: участвовать в банковских и торговых операциях, издавать газеты, журналы, книги, быть актерами, музыкантами. Вот когда начался первый геноцид. Не при Гитлере.

Николай II потакал черносотенцам. Даже такой умный человек, как Столыпин, не удержался и написал статью, в которой много несправедливого сказал в адрес евреев. Перед самой революцией в некоторых российских газетах прямо требовалось, чтобы евреи были поставлены в условия, при которых бы постоянно вымирали. Ну и что от этого имели русские? Какую «продуктивность»?

Почему из века в век так было? Да потому что люди, сами ущербные, обделенные Богом, завидуя и злобствуя, искали тех, кто «хуже». И таких козлов отпущения находили в евреях. А те ничем не могли ответить: религия запрещала братья за оружие. Было обидно, очень обидно, ибо в свой труд еврей часто вносил гораздо больше страсти, чем кто-либо другой. Достаточно сказать, что евреи – первый народ, который гигантским усилием мысли и воображения перешел от языческого многобожия к идее единого Бога. Наверно, всем сказанным можно объяснить, почему социалистические идеи стали для них притягательны. В них, в этих идеях, в их реализации стали видеть возможность освобождения от тысячелетней несправедливости, начали массово вступать в ряды революционеров: большевиков, меньшевиков, эсеров – кто куда. Было ли это плохо со стороны евреев? Да, плохо. Но они-то шли, потому что были несвободны, обижены, унижены. А вот почему русский мужик подался в революцию? А?

В октябре семнадцатого, как известно, произошел переворот, власть взяли большевики и, как и Временное правительство, они не стали ущемлять права евреев. Причина была не только в том, что в жилах Ленина текла какая-то толика еврейской крови, а в том, что большевики в то время действительно всерьез придерживались принципов интернационализма, и евреи впервые очень поверили, что русские больше не будут именовать их «жидами», попирая достоинство и свободу, а станут считать себе равными. Ну и что здесь плохого? Что непродуктивно?

В Совнаркоме, то есть в первом большевистском правительстве, было пятнадцать человек: тринадцать русских, один грузин – Сталин, один еврей – Троцкий. Теперь, когда можно все анализировать и говорить, по телевизору часто слышу, что во многом, особенно в бесчинствах с церковью, виноват Троцкий – еврей Лейба Бронштейн, а также комиссары-евреи. Да, это так. Это правда. Но почему евреи пошли в революцию, я только что сказал. А вот почему пошли в революцию и громили церкви русские мужики, мне непонятно. Комиссар-еврей был один, а в подчинении у него были сотни русских, которые с яростью сбрасывали колокола. Это что? Во имя чего они это делали? Почему вместо того, чтобы поднять на штыки комиссара, шли уничтожать своих же собратьев? И почему об этом не говорят, не дают четкого ответа? Застила, застила ум Троцкому идея мировой революции, но отчего же с ним в одной компании оказались русский «дедушка Калинин», поляк Дзержинский, грузин Сталин, а также миллионы русских, тысячи китайцев, латышей – латышских стрелков – и прочие, прочие, прочие? Никто честно не хочет ответить на этот вопрос. Удобней – виноват еврей...

В двадцатом году было создано новое правительство, но опять-таки евреем был один – Троцкий. То есть все враки, брехня, когда говорят, что с приходом большевиков Россией стали править жида. Правил ею те, кому попала в руки власть. А попала она далеко не евреям. В годы Гражданской войны евреи хорошо нахлебались и от «белых», и от «красных»: людям стало плохо жить и, как всегда, виноват еврей. Ну а почему же русские «белые» стреляли в русских «красных»? Евреи им на спусковые крючки нажимали?

Конечно, если взять статистику, Советской власти пошло служить много евреев. Но почему? Да потому что провозглашавшиеся идеи были хороши и увлекательны, а больших идеалистов, чем евреи, нет. И они поверили. Евреям очень свойственен идеализм, и вот со всей страстью этого идеализма, желания построить счастливое общество для всех они и пошли служить советскому отечеству.

Однако товарищ Сталин не был ни идеалистом, ни утопистом. Он был реалистом – жестоким, зорким, хищным. Он увидел в искренности евреев очень большую угрозу себе и, будучи с младых ногтей антисемитом, не мог терпеть «жидовского засилья». В начале тридцатых приступил к уже планомерному уничтожению евреев во всех сферах деятельности государства, а к началу войны, к сорок первому, в правительстве был только один еврей – Каганович. Надо сказать, не самый лучший.

Ну а в годы Второй мировой с евреями произошло то, что на иврите называется «шоа», то есть всеожжение, сожжение дотла, или Катастрофа. В этой мировой войне погибло шесть миллионов евреев, в том числе два миллиона советских. Истребляли их не только немцы. «Истребителями» было и местное население.

Сталин ненавидел евреев, но во время войны не смог с ними окончательно разобраться, а в сорок втором даже вынужден был создать Еврейский антифашистский комитет, потому что тысячи евреев в США стремились, чем могли, помочь еще не уничтоженным советским евреям. Ненависть в душе Иосифа Виссарионовича кипела, и достаточно было одной спички, чтобы костер вновь вспыхнул, а спичкой стал приезд в Москву посла из Израиля, которого с восторгом встречали евреи. Разогнали тогда все еврейские общественные организации, объединения. Выгнали евреев из всех партийных и государственных органов, резко ограничили прием в вузы. Вместо «еврей» стали говорить «сионист», конечно же, с негативным смыслом. Прошли аресты еврейских поэтов и писателей, общественных деятелей. В газетах – кошмарный ор: евреи – враги всех советских народов, особенно русского. Ну и что? После этого русским стало лучше жить?

Да, забыл присовокупить «дело врачей», когда самые видные медицинские специалисты чуть ли не в одну ночь были репрессированы, а многие, не пережив страданий, погибли в застенках. Стало от этого лучше русскому крестьянину, рабочему, интеллигенту?

Теперь достоверно известно: всех евреев Союза ждали железнодорожные «скотские» вагоны, в которых должны были отправиться в Сибирь – на высылку. Но этого не произошло. Почему? Да потому что наши «великие», видно, поняли: без евреев ни в чем не обойтись...

После смерти Сталина положение несколько изменилось, но все равно кадровики всех рангов и мастей были настроены на «еврейскую волну». Чтобы еврею попасть на хорошую работу, надо было иметь – ого-го – сколько «за» по сравнению с остальными. Еврей должен был обладать в своем рейтинге явными преимуществами.

Хрущев тоже был антисемитом, но не таким злобным. Он был неглупым дядькой, у которого антисемитизм был просто в крови, и с этим приходилось считаться. Евреи терпели, ибо путь в Америку и Израиль был еще закрыт. Чтобы увеличить спрос на себя, они из кожи вон лезли, но учились и работали так, чтобы доказать свою необходимость. Даже ярые антисемиты, но неглупые люди отмечают это в своих мемуарах.

Все последующие правители не понимали до конца тонкостей национальных отношений в многонациональном конгломерате, не понимали, что у каждого народа свой менталитет, своя

национальная культура, и нельзя пренебрегать ни одной струной: она тут же издаст фальшивый звук. Не понимали, что не нужно становиться в позу «старшего», «лучшего» только потому, что количественно больше. Люди многое могут простить, но не это.

Очень часто все зависит от главы государства. До прихода к власти Гитлера Германия была самой свободной и демократической страной в Европе. Этим и объясняется, что в ней жило много евреев. Но с приходом Гитлера – человека, люто ненавидящего евреев, все изменилось: ненависть нашла благодатную почву: среди немецких промышленников и интеллигенции было много евреев. Гитлер «объяснил» немецкому бюргеру, что именно евреи виноваты во всех бедах. Началось тотальное изгнание их из страны. А в «окончательном решении еврейского вопроса» фюрер был не одинок: теперь есть точные доказательства, что Молотов в сороковом году, во время поездки в Берлин, обменивался с немецкими «коллегами» Фриком и Гейдрихом идеями об освобождении своих стран от «национально чуждых элементов». Этими элементами были, конечно же, евреи.

Начав войну против евреев, Гитлер просчитался: затрагивая интересы одного народа, нельзя не затронуть интересы другого. Гитлер «затронул» и французов, и поляков, и бельгийцев, и англичан, и русских, и украинцев, и многих-многих других. Вот потому эти народы в ответ навалились всей мощью на гитлеровский фашизм. Это стоит учитывать современным антисемитам. В современной Германии это хорошо понимают: потому у немцев развито чувство национальной вины за Холокост.

Евреи же, потеряв в войне шесть миллионов, поняли необходимость создания собственного государства и создали его. Вал иммигрантов из бывшего СССР пришелся на начало девяностых, но и по сию пору, несмотря на то, что в Израиле гремят взрывы, евреи все-таки едут. И очень немногие возвращаются.

Нужен ли Израиль России и Израилю Россия? Нужны ли мы друг другу? Уверен, да. России Израиль нужен как государство на Ближнем Востоке, позволяющее на родине христианства «стоять на двух ногах». В Израиле – самая большая община выходцев из нашей страны, и каждый пятый или шестой говорит и думает по-русски. Разве это не имеет значения? Отдача от «русских» евреев большая, и это важно политически. Израиль – один из каналов выхода на мировой рынок, и наши высокие технологии легче пойдут на мировой рынок, если этому будет способствовать Израиль. Добрые отношения – признак неантисемитизма, свидетельство цивилизованности.

Мы Израилю тоже нужны как сила, ставшая другом, а не врагом, как необъятный рынок.

Часто думаю, в чем же суть антисемитизма, как социального и политического явления, ведь антисемитизм – философская категория. Мир драматичен и состоит из Добра и Зла, Света и Тьмы. Наши пророки просто объясняли соотношение Добра и Зла: делай больше Добра, будет меньше Зла. Элементарно, как арифметика. Антисемитизм – своеобразный психоз, болезнь и болеет ею большое общество. Антисемит – всегда не одиночка: это человек толпы. Он понимает, что слаб, а ум и трудолюбие еврея его раздражают, рожают ненависть. Потому антисемитизм – всегда попытка посредственности как-то возвыситься.

Чувство национального превосходства – поганое чувство, от кого бы ни исходило. И к пропаганде этого чувства всегда прибегает реакционная часть общества: во всех просчетах ей нужен враг. Этим врагом лучше всего сделать еврея. Но антисемиты просчитываются, заявляя, что их «обижают» евреи. Тем самым они представляют свой многочисленный народ как неполноценный, ущербный, подверженный манипуляциям со стороны меньшинства.

Я долго жил на Украине и, когда в Киеве на Бибиковой горе установили Стену Плача, Щербицкий, первый секретарь ЦК компартии Украины, велел залить ее бетоном, потому как облик героев был неславянский – горбатые носы...

В семьдесят шестом в Бабьем Яру установили памятник погибшим: ни одного еврейского лица, ни даже признака еврейской одежды. Написали: здесь погибло сто тысяч советских граждан. И ни полслова, что закопаны кости двухсот пятидесяти тысяч евреев.

Антисемитизм – зло, большое зло, а если о зле молчать, оно будет распространяться. И оно распространяется: корни современного терроризма лежат и в антисемитизме.

Спросите, что делать? Отвечу. Всеми возможными средствами объяснять и объяснять людям, что Создателю нужен каждый народ. Вот почему у антисемитов ничего не получается. Вот почему в конце концов они всегда биты. Если бы Бог посчитал, что евреи ему не нужны, они бы давно исчезли с лица мира. Но Бог так не считает. Евреи ему нужны в качестве зеркала, чтобы каждый мог увидеть свое лицо таким, какое оно есть на самом деле.

Евреи никогда не могли и не могут привыкнуть к антисемитизму: это все равно, что постоянно носить на груди желтую звезду. Она как мишень, по которой учатся стрелять. Надо объяснять, что антисемит – всегда позор нации. Антисемитизм всегда оборачивается злом против антисемита. У американцев, я читал, в музее Холокоста висят портреты конгрессменов, голосовавших за предоставление кредитов Гитлеру. И они названы предателями американского народа. А христианский русский философ Соловьев с негодованием говорил о недостойном отношении к евреям части русского общества и, умирая, словами древних псалмов молился за гонимый народ.

* * *

В марте сорок первого, еще до начала войны, институт, куда перешел, был преобразован в военную академию. Я стал слушателем академии, и мое материальное положение значительно улучшилось: выдали форму, кормили, как на убой, было общежитие, платили стипендию. Но не сразу вписался в новую обстановку: «зацепился» с преподавателем курса «Детали машин». Он не хотел зачесть курсовой проект, который сделал еще в политехническом. Однако после того, как из девяносто шести слушателей я один сдал все экзамены на «отлично», инцидент был исчерпан.

И вот июнь сорок первого. Двадцать второе число. Все прилипли к тарелке репродуктора. После речи Молотова написаны рапорты с просьбой отправить на фронт. Нам объяснили, что будем задействованы в других местах, а пока должны как можно успешнее учиться. В августе сорок первого, то есть через полтора месяца, академию эвакуировали в Йошкар-Олу, где до мая сорок третьего продолжалась учеба.

Теперь скажу, что стало с бобруйскими друзьями: Сема Геллер ушел на фронт, Яна тоже рвалась медсестрой, но ей, как и мне, сказали: подождите. В августе была еще в Ленинграде, приходила ко мне, к забору академии: нас не выпускали. Очень плакала: уже двадцать шестого июня немцы взяли Бобруйск. Мы ничего не знали о своих родных. Я даже не смог с ней проститься: нам не давали увольнительных, а телефонной связи не было. Это не теперешнее время, когда у каждого молодого есть мобильник. Связь с Яной прервалась: она не знала моего нового адреса, я написал несколько раз на общежитие, но ответа не получил. С Семой связи тоже не было. Оставались лишь товарищи по академии. Однако предаваться унынию было некогда: учебная нагрузка была огромной.

В январе сорок третьего при защите дипломного проекта, над которым сидел ночи напролет, и он получился как надо, меня опять срезали, чтобы не дать, как нынче говорят, «красного» диплома. Антисемитизм процветал. И хотя после защиты я доказал, что был прав в разработке проекта, «поезд ушел»: мне дали обычный диплом и присвоили звание «лейтенант», тогда как отличникам присваивали «старшего».

Хоть и было обидно, но плюнул и написал еще раз рапорт об отправке на фронт. Мне сказали: начальству виднее, чем должен заниматься, и я потопал к месту назначения – в ОКБ. Это

опытное конструкторское бюро. Их создавали при заводах и научно-исследовательских институтах. В них, в ОКБ, разрабатывалась новая военная техника. Я был назначен в Омск, а мой товарищ по группе – в Казань. Мать товарища жила в Омске, и он попросил поменяться. Нам пошли навстречу. Так оказался на казанском авиамоторном заводе, где было два ОКБ: в одном работали над созданием мощных поршневых двигателей для самолетов «Пе-2» и «Як-7», второе, совсем секретное, подчинялось министерству авиационной промышленности и НКВД. Я попал во второе. Моя должность называлась «помощник военпреда по опытному строительству», штатная категория – капитан. Я был лейтенантом.

Началась интересная, но очень непростая работа, потому как в ОКБ, куда попал, в то время работали Андрей Николаевич Туполев, Сергей Павлович Королев, Валентин Петрович Глушко. Старшим по возрасту был Туполев.

Не знаю, что говорят вам эти имена, а вот совсем молодые вообще вряд ли о них что-либо знают.

Андрей Николаевич Туполев прожил большую жизнь – восемьдесят четыре года. Сейчас я в его возрасте. Он – самый известный советский, российский авиаконструктор. Под его руководством создано более ста типов военных и гражданских самолетов, на которых поставлено около сотни мировых рекордов. Вознагражден был – но это потом, потом! – правительством сполна: и Ленинская, и Государственные премии, и трижды Герой Соцтруда.

Королев Сергей Павлович был почти на двадцать лет моложе. Когда с ним познакомился, Королеву было тридцать шесть, а умер он – шестидесяти не исполнилось. Королев – человек, без которого не полетел бы в космос Гагарин. Он – главный конструктор ракетно-космических систем, он – основатель практической космонавтики, академик, дважды Герой Соцтруда. Конечно, все это тоже было потом. Под его руководством были созданы первые баллистические и геофизические ракеты, первые космические корабли, на которых люди полетели в космос. Он тоже был не обижен госпремиями. Ну, а самым близким мне был Валентин Петрович Глушко. Этот человек, с которым я работал рядом, создал советский ракетный двигатель, сконструировал первый в мире электротермический РД, первые советские ЖРД. РД – ракетные двигатели, тяга которых основана на реакции (отдаче) вытекающих из них продуктов сгорания топлива, ЖРД – жидкостные ракетные двигатели.

Валентин Петрович потом тоже стал и академиком, и дважды Героем Соцтруда, и лауреатом Ленинской и Государственной премий, а летом сорок третьего, когда лейтенант Яков Боровский, то есть я, предстал перед их очами, они были не маститыми и заслуженными людьми, а... экаками. Да, да: самыми обыкновенными экаками. Они были «врагами народа», и командовали ими энкаведешники.

Надо сказать, еще в мае сорок третьего я был приглашен в Москву в один из отделов НКВД, где меня хорошенько «проинструктировали». Мне объяснили, что люди, с которыми придется работать, хоть и очень серьезные ученые, но... «враги народа», а потому с ними надо быть осторожным. Обращаться к ним следует только по имени и отчеству и слово «товарищ» в обращении не употреблять. Разговаривать можно только на служебные темы.

С первого дня знакомства Глушко и Королев произвели прекрасное впечатление: интеллигентные, приятные, спокойные. Особенно понравился Глушко. Он никогда ни на кого не повышал голоса, хотя был очень требовательным, целеустремленным. В конце сорок четвертого все трое были реабилитированы, но какое-то время еще оставались в ОКБ.

Ничего не могу сказать об их личной жизни, потому как разрешено было общаться только на служебные темы, но однажды, будучи в казанском горкоме партии, познакомился с техническим секретарем по фамилии Глушко. Не удержался и спросил Валентина Петровича, кем приходится ему эта женщина. Он ответил: «Мать моей дочери...»

В сорок пятом, когда все трое уезжали в Москву, Валентин Петрович предложил мне ехать с ним: его назначили начальником очень большого и важного КБ в Подмоскowie. Конечно, надо было ехать, но... Тут должен рассказать о своей женитьбе.

Попав в Казань, в редкие часы отдыха – работали и в выходные – был одинок. Жил в какой-то непонятной общаге. В одно из воскресений, когда был свободен вторую половину дня, ехал в центр города и встретил бобруйского соседа. Фамилия соседа была Горштейн. Мы никогда не притягивались к этой семье – просто раскланивались, но здесь бросились друг к другу, как родные. Горштейну с женой и детьми – две дочери – удалось эвакуироваться. Попали в Казань. По дороге жена чем-то серьезным заболела и умерла. С девочками он жил на частной квартире, работал в какой-то артели. По возрасту был непривычным.

Горштейн привел меня в маленькую чистенькую комнатку около казанского базара, и я оттаял душой. На минутку показалось, что нет войны, а есть старый, тихий и очень уютный Бобруйск. Теперь, как только выдавались свободные минуты, а выдавались они редко, бежал к Горштейнам. Девочки – Муся и Нюся – были молоденькими: Мусе – девятнадцать, Нюсе – шестнадцать. И однажды это случилось. Как, почему – не знаю. Был как в чаду. Горштейна и Нюси дома не было.

Отец еще давно, до войны – мне было пятнадцать, – объяснив по-мужски, что и как, сказал: «Смотри, Яков, испортишь девку – женись!» Не знаю, испортил ли я девку – ничего в этом не понимал, это было в первый раз, но отрезвев, понял, что должен жениться. В следующий приход к Горштейнам сделал официальное предложение, которое было тут же принято. Случилось все в сорок третьем, а в сорок четвертом уже родился мой первенец Вовка. Сейчас моему сыночку было бы шестьдесят. Было бы...

Тосковал ли по Яне? И да, и нет. Жизнь, а главное работа не давали продыха. Уже после войны случайно узнал, что Яна уехала с родными в Польшу. Почему в Польшу, не знаю. Но при Гомулке почти все евреи оттуда бежали. Где она, жива ли – тоже не знаю. Только, когда слышу романс:

Сад весь умыт был весенними ливнями,
В темных оврагах стояла вода.
Боже! Какими мы были наивными!
Как же мы молоды были тогда!
В час, когда ветер бушует неистово,
С новой силою чувствуя я:
Белой акации гроздь душистые
Невозвратимы, как юность моя, —

очень сжимается сердце, вижу берег Березины и стройную, как тополек, девочку с бело-розовой мраморной кожей...

Надо было ехать с Глушко, обязательно надо. Но Муся подняла плач и сказала: «Яша, их только-только освободили. Неизвестно, что будет завтра. Ты – еврей. Все шишки будут на тебя. Ты хорошо получаешь – я действительно хорошо по тому времени зарабатывал. Если что случится, что буду делать одна с Вовкой – без образования, без специальности?»

Слезы жены остановили. Решил ничего не менять, но как же, как же потом раскаивался...

* * *

В конце сорок третьего моим начальником, то есть военпредом, стал некто Павлов. По диплому был инженером, но инженером плохим: до назначения в ОКБ работал в Китае, в посольстве. А вскоре произошел такой случай. На длительных испытаниях опытного поршне-

вого двигателя М-1 разрушился промежуточный валок привода механизма газораспределения. Пришлось заменить правый блок мотора. Я доложил обо всем Павлову, он – старшему военпреду, но в своем докладе все перепутал и сказал, что сломался промежуточный валик привода нагнетателя. Чтобы неспециалисту было понятно, объясню: Павлов заявил, что сломалась ножка стола и для ее восстановления нужно заменить столешницу.

Старший военпред доложил обо всем в Москву, меня вызвали в министерство и, выслушав, назначили на место Павлова. Тогда понял: некомпетентность все-таки наказуема...

А между тем работа в ОКБ шла своим чередом и были успешно проведены испытания – стендовые и летные – ускорителей, созданных Глушко. В полете с работающим двигателем РД-1 скорость самолета «Пе-2» увеличилась на 100 километров в час. Двигатели эти были направлены в Москву и установлены на самолетах «Як-7» и «Ла-5». На аэродроме после успешных наземных запусков ракетных ускорителей, установленных на истребителях Яковлева и Лавочкина, мы приступили к летным испытаниям, но из-за технических неполадок дело не пошло, и двигатель был срочно возвращен на доработку в КБ Глушко. Эфировоздушную систему зажигания заменили химической системой самовоспламенения. Все это проверили на стендах и потом в полете на самолете «Пе-2». Все состоялось, и нас даже наградили: Глушко – орденом Красного Знамени, меня – орденом Красной Звезды, ведущему инженеру Сергею Павловичу Королеву дали орден «Знак Почета».

Мы работали на самом сложном участке авиационной промышленности. Сложней не было. А потому удачи чередовались с неприятностями. Покой нам только снится...

Так, однажды при испытаниях двигателей РД-1 на земле два двигателя вдруг взорвались. Тут же нас с Глушко вызвали в Москву, «на ковер». Лавочкин принял хорошо, даже накормил. А вот к Яковлеву Глушко отправил меня одного, и я, лейтенант, предстал перед генерал-лейтенантом.

Посмотрев на меня, Яковлев заявил: «Вас надо посадить...» Я ответил: «Товарищ генерал-лейтенант, надо еще разобраться, кого...» Конечно, тут же был выдворен из кабинета...

Хочу добавить: Яковлев был тогда личным консультантом Сталина по самолетостроению и считался очень крутым человеком. Глушко, видимо, знал его нрав и не захотел лишний раз подпадать под «монарший гнев».

Ну, а двигатели РД-1х3 потом еще и еще раз испытывали на земле, затем установили на «Ла-5» и «Як-7», и они успешно показали себя в воздухе. Максимальная скорость самолетов возросла на 140 километров в час.

Я уже говорил, что в начале сорок пятого Глушко уехал к месту новой работы в Подмоскowie. Еще до отъезда звал с собой. А потом уже из Подмоскowie опять еще несколько раз приглашал и предлагал должность руководителя всех его лабораторий и испытательных стендов, где проверялись выпускаемые ускорители, точнее маршевые ракетные двигатели, с помощью которых ракета или спутник выводились на орбиту. Не знаю, правильно ли поступил, послушавшись жену, но то, что меня сейчас не было бы в живых – это точно. Я бы погиб вместе с маршалом Неделиным при пуске ракеты, которая взорвалась при взлете. Это случилось в тысяча девятьсот шестидесятом.

При внедрении новой авиационной техники людей ожидают огромные опасности. Поэтому вначале все проверяется на земле, на стендах. Производители продукции, конечно же, всегда заинтересованы сдать ее в намеченный срок. Я, военпред, приемщик, должен был, прежде всего, стремиться к тому, чтобы продукция была безупречной по качеству. На этой почве у нас с Глушко были некоторые размолвки. Но потом, позже, понял: в Казани он был подневольным, и ему надо было как можно быстрее показать «товар лицом». А потому никакой обиды у меня, конечно, не осталось.

В сорок седьмом – сорок восьмом дважды направляли под Самару для проведения внутривоздушных испытаний мощного турбовинтового двигателя. Был назначен и.о. старшего воен-

преда. Должность была полковничьей. Я же был капитаном. В это время уже хорошо знал, что евреев-офицеров, работающих с секретной техникой, сплошь и рядом без всякого объяснения переводили в восточные районы страны с понижением штатной категории. По ВЧ позвонил в Казань своему начальнику подполковнику Триносу и сказал, как «на духу», что кадровики не оставят в покое на столь секретной и столь высокой должности, а потому хочу вернуться в Казань. Тринос был хорошим мужиком и, хотя в подпитии мог стрелять в потолок и кричать «бей жидов», ко мне относился по-доброму, в обиду не давал. Я вернулся в Казань – военпредом по опытному строительству газотурбинной техники.

Часто бывая в Москве, созванивался и виделся с однокашниками по академии. Многие, очень многие уже работали на престижных высоких должностях, хотя учились хуже меня. Но они не были евреями...

Очень тянуло к научной и учебной работе, и однажды начальство спросило, не готов ли вести дипломников в КАИ – Казанском авиационном институте. Несмотря на загруженность, с радостью согласился, хотя материальное вознаграждение было мизерным. Но об этом как-то даже не думал. Впервые пришел на кафедру не как студент, а как преподаватель и быстро вошел в коллектив. Завкафедрой тут же предложил тему для кандидатской диссертации. Я был счастлив.

Продолжая службу, занимался приемкой опытных образцов новых ракетных двигателей. Пришлось самостоятельно, при отсутствии учебников, овладевать теорией ГТД – газотурбинных двигателей, обучать военных представителей серийных цехов теории и конструкции двигателей РД-20, устанавливаемых на самолетах «МиГ-9». Вместе с тремя выпускниками «Жуковки» – авиационной академии имени Жуковского, прибывшими в военную приемку завода, написал первый учебник по теории ГТД. Потом, сразу скажу, мною и моими соавторами было написано несколько книг по теории авиационных двигателей, некоторые были переведены на польский, китайский и французский языки.

Перечень изданных работ, их серьезность говорят о том, что мог бы, наверно, вполне претендовать уж если не на докторскую, то хотя бы на кандидатскую степень. Но этого не случилось. Почему – позже. А сейчас выключите свою «адскую машинку»: будем или обедать, или ужинать. Уж не знаю...

* * *

Проговорили вчера много часов, а сказать надо еще немало. В пятидесятом мне было присвоено звание инженер-майора, и я получил хорошую двухкомнатную квартиру. Квартиры тогда давали бесплатно. У меня уже было двое пацанов. Жена сидела с ними, но на жизнь в дорогой Казани нам все-таки хватало. Причин для печали и беспокойства не было. Потому то, что вскоре разразилось, было громом среди ясного неба.

В марте пятьдесят второго срочно вызвали в Москву, в отдел кадров, и сказали: переводитесь под Киев, в Васильков, преподавателем военного училища. Вначале остолбенел: военный человек, готов был ко всяким неожиданностям, но преподавателем среднего учебного заведения... Училище готовило средний технический состав, выпускало техников-механиков по обслуживанию военных самолетов. Я знал, знал, что, начиная с сорок восьмого года, а, может, и раньше началось массовое изгнание военных-евреев, работавших с секретной техникой. Но как-то не хотел думать, что это может коснуться и меня. На подъем дали неделю. В начале апреля мы уже были в Василькове.

Молодые люди могут спросить, почему не уволился из армии. Сейчас это достаточно просто. Отвечаю. В пятьдесят втором, когда это случилось, уволиться из армии можно было только по болезни. Выгоняли за провинности. Я был здоров, а совершать какой-то проступок было не в моих интересах: из квартиры тут же бы вытряхнули. Да и не мог я этого сделать!..

А потому должен был подчиниться обстоятельствам. Советская власть очень больно била, а плакать не давала...

Было ли обидно? Не то слово. Был обалдевший: за что? Знал свой потенциал, знал, что запрограммирован на многое. Работая рядом с Глушко, понимал, что мои профессиональные качества чего-то стоят. И вдруг – так опустить. За что? Только это стучало в голове. Ну и что, что еврей? Чем хуже другого? Какой смысл государству так издеваться? Кто от этого выигрывает? Вопросы жгли и жгли по ночам; в суматохе дня об этом некогда было думать.

С точки зрения обывательской васьковское житье было даже лучше: маленький сытый городок близ Киева. Цены на несколько порядков ниже. Дали жилье – две комнаты в трехкомнатной квартире. Я даже начал копить деньги на машину. Но... мой интеллект оставался абсолютно невостребованным: это как если бы профессор медицины занимался только тем, что делал больным уколы. Вот тогда, «подрядив» еще нескольких преподавателей-евреев, тоже сосланных сюда из других городов из высших военных училищ, начал писать книжки. Но своими соавторами брал, конечно, не только евреев.

Служба в Василькове продлилась двадцать три года. Стал начальником цикла – это как бы начальником кафедры. Мне присвоили звание полковника. Но способности мои оставались невостребованными и то, что мог дать обществу, осталось неиспользованным. Кто от этого выиграл? И почему это произошло?

После демобилизации еще семнадцать лет читал ребятам «Детали машин». Никогда не пользовался никакими конспектами – память была хорошая. Теперь уж совсем ослабела – вот только стихи и запоминаю.

Девяносто шестой год оказался поворотным. Не дожив до семидесяти трех, скончалась Муся – жена. Мучилась недолго: инсульт. И в конце этого же года уехал в Израиль младший сын Саша.

С ребятами особых проблем не испытывал: росли послушными, не хулиганами. Но младшему – Саше – не повезло: врачи «перекормили» стрептомицином, когда был ему годик, и он почти совсем оглох. Когда пошел в школу, всегда сидел на первой парте, но почти ничего, что объяснял учитель, не слышал. Помочь ему ничем не мог: с восьми утра до восьми-девяти вечера был в училище. Суббота тоже была рабочей. Воскресенье – единственный день, когда шли или ехали на рынок, по магазинам. В те годы в Василькове мало что можно было «достать»: приходилось ездить в Киев. Муся с ее образованием тоже не была помощницей. Слуховые аппараты были плохими, да и стеснялся Сашка их носить. Потому и остался недоученным, но руки с малолетства были золотые. Кое-как окончив школу, пошел токарем на завод, и вот тут его звезда засияла: до отъезда в Израиль «не слезал» с Доски Почета: самые сложные заказы отдавали ему.

Почему сын уехал в Израиль? Во-первых, подбивала жена: вся ее родня уже уехала. Ну а потом однажды сказал, что не хочет, чтобы из-за пятого пункта Димка – его сын, мой внук – пострадал так, как пострадал я или наш Вовка. Вовка – мой старший сын, о нем еще расскажу. Что мог ему ответить? Сказать, что антисемитизм уже кончился?

Саша уехал и живет около Иерусалима. Работает токарем-фрезеровщиком. Имеет четырехкомнатную квартиру, хорошую машину, хотя Софка, его жена, бухгалтер, работает уборщицей, а сын Димка оказался лентяем и, видно, неспособным.

Со старшим сыном, Владимиром, судьба сыграла злую шутку. Он хорошо учился, хотя отличником не был. Годы – в смысле учебы – были тяжелыми: тогда еще устраивали не за деньги, а по благу. Я решил: пусть закончит Васильковское училище, получит среднее техническое образование, лейтенантские погоны, послужит, а потом – в академию. Все со мной согласилось. После окончания училища сына распределили в летную воинскую часть в тот город, где сейчас мы с вами находимся.

Отлично прослужив три года, попросил направление в академию. Ответили отказом, придумав какую-то совершеннейшую чепуху. Он обращался еще семь раз! Отказы.

Последний раз, когда кадровик пригласил его к себе и положил личное дело на стол, сын вдруг увидел на папке нарисованную синим карандашом огромную букву «Е». Сначала ничего не поняв, Володя уставился на папку, но кадровик, тотчас сообразив, быстренько перевернул ее так, чтобы буква стала не видна.

Вова прослужил весь положенный срок, в чине майора вышел на пенсию, устроился на работу, но стал таять. Когда просили его пойти к врачу – сердился. В конце девяносто седьмого умер от скоротечного рака пищевода – так объяснили врачи. За месяц до его смерти, продав васильковскую квартиру и купив эту однокомнатную, я переселился с Украины в Подмосковье.

* * *

Утомил Вас своим рассказом, но ведь сами просили «говорить обо всем». Вот и говорю.

Если позволите, ненадолго «вернусь в войну». Перед ее началом отец мой был направлен под Брест на строительство подземных аэродромов: был строителем-прорабом. Ему было пятьдесят, и был он крепким, мускулистым человеком. Мамае сестренкой оставались в Бобруйске: мама работала, сестра заканчивала девятый класс. Я, как уже говорил, учился в Ленинграде. Двадцать второго июня сорок первого началась война, а уже двадцать шестого немцы заняли Бобруйск. Под проливным пулеметным «дождем» мама и сестра дошли до Рогачева. Река людей, направлявшихся на Восток, была нескончаема: на семьдесят процентов население Бобруйска состояло тогда из евреев, а евреи уже знали, что сделал с ними Гитлер в Польше и других странах Европы, и не могли оставаться под немцами.

Двадцать шестого июня, когда немцы вошли в город, отец добрался из Бреста до Бобруйска, но жену и дочь не застал. Квартира была разграблена, все перевернуто. Рассказали обо всем потом соседи по двору – русские. Грабили, конечно, не немцы – они еще только маршем прошли по Социалистической улице. Сделали это свои.

Отец какое-то время оставался в доме, решив собрать хоть немного вещей, а в этот момент Иваниха, уже «отловив» каких-то двух немцев на мотоцикле, вела их к нашему дому со словами «юде, юде». Это видели русские соседи.

Немцы «управились» быстро: схватив и отведя отца чуть в сторонку, несколькими выстрелами из автоматов положили на землю. Его, бывшего красного конника, человека очень сильной воли...

Почему отец не вырвался, не побежал? Наверно, во-первых, потому что от мотоциклистов он бы все равно не убежал, во-вторых, видно, не думал, что вот так – только за то, что еврей – его запросто положат. Кто знает, что промелькнуло в этот миг в его голове? Он был убит и неизвестно, где зарыт: на следующий день, как сказали те же соседи, труп во дворе уже не было, а Иваниха продолжала жить и, как сказали соседи, ее видели в чем-то из маминого гардероба...

Кто такая Иваниха и почему так поступила? Жила эта женщина на «задах» в покосившемся домишке с сыном-пьяницей. Когда сын напивался и бил ее, она орала на весь двор. Соседи привыкли и не реагировали. Видно, особая зависть была у нее к нашей семье: отец был трезвым, неплохо зарабатывал, работала и мама. Зависть, подлая зависть к нормальным людям жгла эту люмпенку, и вот, наконец, настал ее «звездный» час. Только почему, почему, спрашиваю, мозги ее были повернуты в сторону убийства? Да потому, что произвела она на белый свет подонка. Значит, еврей был виноват, что родилось это «сокровище».

Не стал, не стал сводить с нею счеты, хотя надо было, надо. Оставляя зло безнаказанным, способствуем сотворению нового. Уехал из Бобруйска, пробыв в нем только сутки, и больше никогда в этот город не возвращался.

Мама с сестрой, пройдя все круги ада эвакуации, попали в Ленинград – блокада уже была снята. Сестра, сдав экстерном экзамены за десятый класс, поступила в медицинский, мама работала комендантом общежития в этом же институте. Им дали восьмиметровую комнатку. Жили на крохотную мамину зарплату и сестрину стипендию. По случаю досталась швейная машинка: мама начала прирабатывать шитьем. Я нашел их в Ленинграде в начале сорок четвертого.

Мама была очень нездоровым человеком. Как и бабушку, ее мучила бронхиальная астма. Но, не разгибаясь, от приступа до приступа, она работала. Когда сестра вышла замуж и с мужем-военным уехала жить в Ригу, они взяли, конечно же, маму. Сестра и мама никогда не разлучались. Наверно, мама не дожила бы даже до своих пятидесяти восьми, если бы не лечение и уход, которые получала от дочери-врача. Сейчас сестра – тоже уже старый человек – в ближнем зарубежье. Муж ее умер, и с дочерью – нездоровым человеком – им живет очень тяжело. Помочь не могу: моей пенсии – хотя она и военная – хватает только на квартиру и еду. Сэкономить, чтобы послать, получается нечасто.

И еще, пока не забыл. С Валентином Петровичем Глушко долго поддерживал связь – почти до самой его смерти в восемьдесят девятом. Всякий раз, как выходила у меня новая книжка, посылал, как бы «отчитываясь». Конечно, понимал, что ему, академику, ставшему таким известным, все это, наверно, ни к чему, но «отчитаться» хотелось. Он никогда не оставлял мои «посылки» без внимания.

...Да, так спрашивайте, о чем еще хотели. Почему не еду к младшему сыну в Израиль? Был в прошлом году. Хорошая страна. И израильтяне ее очень любят – есть за что. Ощущения осадного положения нет, и по домам никто не прячется. Люди хорошо понимают, для чего существует их государство, в отличие от всего мира, который ни хрена не хочет понимать. Еще раз говорю: хорошая страна, но... не моя. Моя – вот тут, вот это.

Принято считать, что евреи ищут «теплое местечко», но это не так. Как и все, евреи – разные, и местечки разные. И не все местом определяется. Нужен еще дух, душа, нужны еще вот эти березы, что у меня под окном, эти старики, к которым хожу в совет ветеранов, которые и свели нас с вами. Не все, не все построено на выгоде.

Что думаю о человеческой нравственности? Ну и вопросыки задаете! Тут диссертацию в пору писать. Нравственность у человека можно воспитать только тогда, когда нравственные условия, в которых он воспитывается. Человечество же, к сожалению, все время сбивается с пути свободы на путь принуждения. В человеческой цивилизации машины все больше и больше вытесняют духовное. Религия все больше подчиняется прагматичности. Обществом все более овладевают разрушительные тенденции, а отсюда – войны, конфликты. И это потому, что в человеческом подсознании гнездятся демоны – особенно в больном сознании. Когда они вырываются наружу, начинается «дух толпы».

В человеческом обществе мало разумных идей, способных объединять и воодушевлять. Люди все больше и больше хотят власти, а власть и кровь пьянят и развращают. С другой стороны, людей приучили верить – верить бездумно, безраздельно, безрассудно, а потому они превращаются в быдло. И в то же время каждый человек – ну, почти каждый – с виду такой уверенный в себе, наглый, ершистый, колючий, полон сомнений и растерянности. Некоторые, встав в позу «хозяина жизни», каленым железом выжигают в себе все сомнения и окончательно расчеловечиваются, а большинство, думаю, уживаются с этими сомнениями, с этой растерянностью, мучаются, страдают, стыдятся кратких свиданий с совестью. Но это – оставляет человека человеком.

Как понимаю наших людей? Скажу об интеллигенции, о городских. Людей деревни плохо знаю. Наша интеллигенция склонна прижиматься к власти, если власть проявляет о ней хоть какую-то заботу. И эти ласки воспринимает рабски, как милость. И уже готова расцеловать власть, и уже говорит о власти, задыхаясь от восторга. Наша интеллигенция быстро устает –

раньше остального народа. А народ не любит свою интеллигенцию, не доверяет ей, третирует ее. Как сказал Андрей Вознесенский: «О, родина, была ты близорука, когда казнила лучших сыновей, себе готовя худшую из казней...» Это – вечная тема России.

Не удивляйтесь, что цитирую. Последние годы читаю и перечитываю поэзию: тянет. Освобожденный от техники ум еще кое-что воспринимает.

Народ наш жалостлив: самозабвенно жалеет себя, хромую собачку, зашибленную кошку. Но почему-то совершенно не жалеет десятки миллионов душ, загубленных в сталинских лагерях.

У нас, чтобы оставаться честным, часто надо быть еще и очень умным. И не привыкли мы объективно оценивать качество проделанной работы ни на производстве, ни в науке, ни в политике. Не потому, что сложно создать критерии оценок. Просто значительная часть общества приучена жить по принципу «не наврешь – не проживешь». Наша главная экономическая проблема – как у всех отнять, чтобы каждому прибавить. Расстрельная идеология: посадить бы кого-нибудь, расстрелять... А что сам окажешься расстрелянным – невдомек.

Стоит ли возвращаться назад и «искать» коммунизм? Сам был в партии сорок восемь лет. А как мог не быть? Еврей, наисекретнейшая работа. Кто бы допустил? Коммунизм, как знаете, пал не только в Советском Союзе. Во всем мире. Идея создания коммунистического общества – утопическая. От внутренней слабости он пал, саморазложился. Смотрите: большевики, захватившие власть в семнадцатом, залили страну потоками крови; Сталин засадил миллионы в ГУЛаг; последователи Сталина тоже не вывели общество из стагнации. Но «курилка» еще жив и даже прибирает иногда к рукам молодых. Господи! Что они понимают... А ведь как верно сказал Игорь Губерман:

Получив в Москве по жопе,
Полный пессимизма
Снова бродит по Европе
Призрак коммунизма.

Нет, не сдается «курилка», не сдается, а самое страшное – смыкается с фашизмом. Если посмотреть коммунистическую прессу, «труды» их идеологов, яснее ясного станет, чего они хотят. Главное – убрать всех евреев. Не так давно, перечитывая Куприна, наткнулся на рассказ «Корь». Там сказано, к чему привел Россию оголтелый антисемитизм. К революции, Гражданской войне и, так называемому, социализму.

Коммунисты еще до сих пор орут о восстановлении «великой и неделимой России». Только не будет этого. Не будет, потому что уже ни одному нерусскому не захочется быть «младшим братом». Все это уже прошли и прочувствовали. Воссоединение бывшего СССР, как и всякая реставрация, невозможно. Нет для этого ни экономических ресурсов, ни политической воли правительства, ни психологической готовности населения. Чтобы вернуть статус «великой», надо маленько поубавить гордыни, ни на минуту не забывая, что страна многонациональная и многоконфессиональная. Только абсолютное равноправие и взаимное уважение. Ничего другого человечество не придумало. Никакие «русские идеи», никакое православие не поможет. Они не помогут даже в том случае, если «чисто русские» загонят себя в резервации, ибо резервация – это тупик.

Ну а по отношению к евреям наши молодые воспитываются так, что если и не все пойдут в черносотенцы, то на защиту от оголтелых погромщиков не встанет никто. Скривив губы, будут созерцать, как калечат и убивают «жидов». А потому, видя, что

У власти в лоне что-то зреет,
И, зная творчество ее,

Уже бывалые евреи
Готовят теплое белье...

Да и сколько евреев осталось!.. По последней переписи – двести сорок тысяч. Это на сто сорок миллионов остального населения. А до войны в Союзе было три миллиона соплеменников. Так что не евреи, не евреи делают сейчас погоду в России. Русские «патриоты» должны быть на этот счет покойны. Но они, «патриоты», смотрят на происходящее только через сполохи пожаров и дуло автомата. «Захватывая одним полком» Чечню, устраивают себе «веселую» жизнь на долгие годы... А потому, если не подумают трезвой головой, мало не покажется.

Спрашиваете, как к Сталину отношусь? В далеком тридцать пятом – мне было пятнадцать – пропел при отце частушку:

Огурчики да помидорчики —
Сталин Кирова пришел в коридорчике...

Услышав, отец подошел и дал по шее, правда, не больно. Сказал: «Услышу еще раз – голову оторву». Больше повторять не нужно было, хотя сам, когда выпивал рюмочку наливки, говорил, прикладывая два пальца ко лбу: «Цвей фингер, цвей фингер»... То есть: два пальца, два пальца... Понимая, кого он имеет в виду, мама шипела как гусыня, а мы с сестренкой только таращили глаза.

Так что теперь, когда заявляют, что народ любил Сталина, не верьте. Ложь это. Боялись – да. Очень боялись. До смерти боялись. Но любить?..

В сорок восьмом, когда начались послевоенные процессы, я все понял про него окончательно. А то, что происходит сейчас в отношении его личности, можно объяснить опять же стишками Губермана:

Висит от юга волосатого
До лысой тундры ледяной
Тень незабвенного усатого
Над заколдованной страной...

* * *

Когда два дня назад Вы пришли, думал, поговорим пару часов и все. А тут вот уже третий день обсуждаем мою персону.

Где Вы остановились? У знакомых. А то вот это раскладное кресло свободно. Я – старик спокойный: никаких поползновений не будет. Завтракали? Тогда включайте машинку – будем закругляться.

Знаете, есть эпохи и периоды особого цинизма в жизни, когда врут даже не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы поживиться. До души было легче достучаться, когда пришел Горбачев. Тут показалось, что небо расчистилось, всколыхнулись надежды. Души приоткрылись, поскольку их враз освободили от прежней лжи. Недавно совершенно случайно познакомился в одном доме с двумя русскими парнями. Подчеркиваю: русскими. Они без бандитского и обкомовского прошлого, выбились своим умом. Так вот, они в ужасе от происходящего и знаете, что говорят? Уезжать надо, пока не поздно. Страшно теперь вкладывать деньги. Ленин и теперь «живее всех живых»: грабь награбленное... Это бессмертно. Это горит в сердцах бывших партийных и комсомольских деятелей, которые опоздали к переделу собственности девятых годов.

Наша элита занимается устройством собственной судьбы, а население слабо и дезорганизовано. И, по-моему, совершенно ясно, что во власти нет или совсем мало людей с государственным типом мышления, которых бы по-настоящему заботило положение дел. Кстати, во все времена мир был трагичен. Все ценности существуют за счет друг друга: нельзя жить интересно и безопасно: следуя одному освященному правилу, попираешь другое. Всегда приходится платить за все не только в мире реальных поступков, но и в мире идеалов.

А не получается у нас ничего еще и потому, что не знаем точно, чего хотим. Как в той песне: «Мечта прекрасная, еще неясная, уже зовет тебя вперед...» Вот и мы бросаемся вперед, не думая, что же на горизонте. А мечта должна быть реальной, тысячу раз проверенной и выверенной: отсутствие внятно сформулированных задач, навыка целеполагания приводит к невнятным и разрушительным действиям. Хотя одна мечта формулируется достаточно четко: бутылка водки и хвост селедки...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.